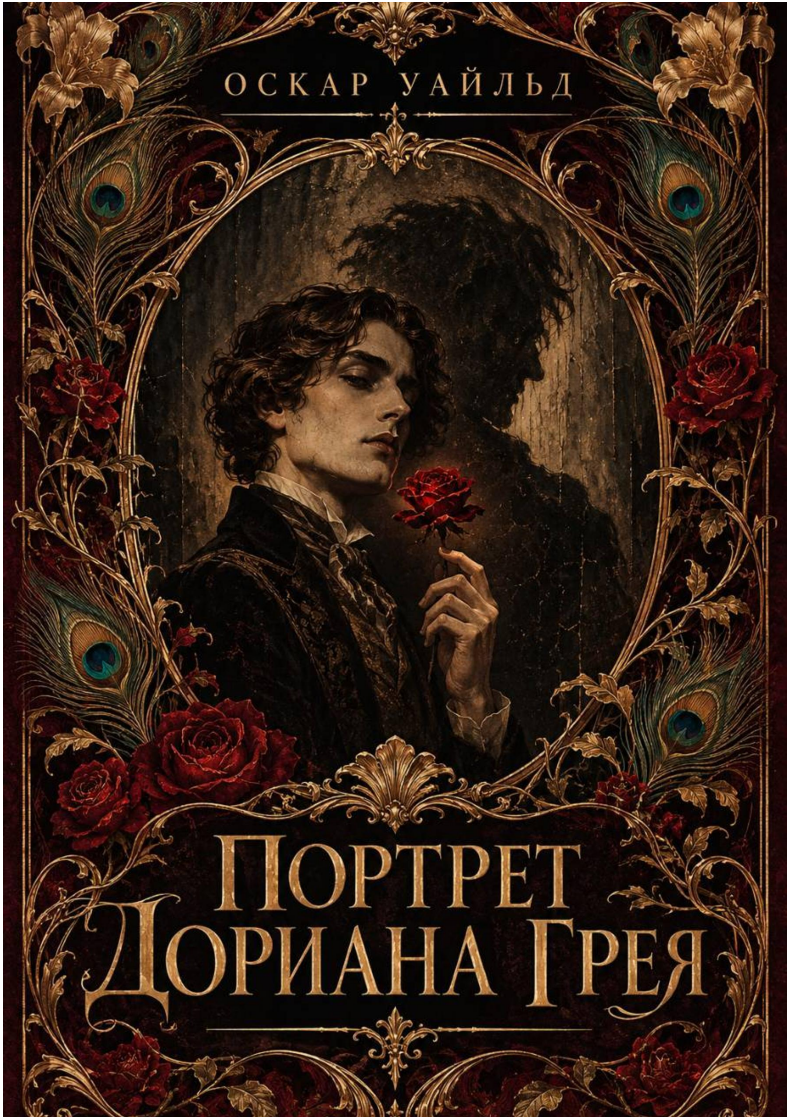

ОСКАР УАЙЛЬД
Портрет Дориана Грея

Оскар Уайльд
Портрет Дориана Грея

https://litres.ru/74777539
SelfPub; 2026

Аннотация

Блестящий викторианский Лондон, благоухание цветущих садов, шепот светских гостиных и запах свежих масляных красок. Юный Дориан Грей прекрасен, как античное божество, и чист, как нетронутый холст. Талантливый художник Бэзил Холлуорд пишет его шедевральный портрет, а циничный аристократ лорд Генри открывает юноше глаза на главную трагедию жизни: молодость и красота мимолетны.

В порыве отчаяния Дориан произносит роковое желание — пусть стареет и дурнеет его изображение на полотне, а сам он навсегда останется юным. Мольба услышана. Теперь Дориан волен без оглядки предаваться самым смелым и темным искушениям, не боясь оставить следов на собственном лице. Но какую цену придется заплатить за сделку, скрытую за тяжелым бархатным занавесом в запертой комнате?

Изысканный психологический триллер и бессмертная притча Оскара Уайльда о власти красоты, природе порока и совести, от которой невозможно сбежать, — в новом, живом и выразительном художественном переводе.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ 4
ГЛАВА I 6
ГЛАВА II 25
ГЛАВА III 48
ГЛАВА IV 67
Конец ознакомительного фрагмента. 79

Портрет Дориана Грея

ПРЕДИСЛОВИЕ

Художник — творец прекрасного. Явить искусство и скрыть художника — вот цель искусства. Критик — тот, кто умеет передать иной манерой или в ином материале впечатление, которое произвело на него прекрасное.

Высшая форма критики, как и низшая, — род автобиографии. Кто видит в прекрасном дурной смысл, тот порочен, не будучи при этом обаятельным. Это изъян.

Кто находит в прекрасном смысл прекрасный, тот человек утончённый. Для него не всё потеряно. Он из избранных, для кого прекрасное означает только красоту.

Нет книг нравственных и безнравственных. Есть книги хорошо написанные и плохо написанные. Только и всего.

Неприязнь девятнадцатого века к реализму — ярость Калибана, увидевшего в зеркале своё лицо.

Неприязнь девятнадцатого века к романтизму — ярость Калибана, не увидевшего в зеркале своего лица. Нравственная жизнь человека входит в круг тем художника, но нравственность искусства — в совершенном владении несовершенным материалом. Ни один художник не стремится что-либо доказывать. Доказать можно даже истину. У художника не бывает этических пристрастий. Этическое пристрастие в

художнике — непростительная манерность стиля. Художник никогда не бывает болезненным. Ему подвластно выразить всё. Мысль и слово для него — лишь орудия искусства. Порок и добродетель — лишь материал. По форме образец всех искусств — музыка. По чувству — ремесло актёра. Всякое искусство есть и поверхность, и символ. Кто проникает под поверхность, поступает так на свой страх и риск. Кто читает символ, тоже рискует собой. Искусство отражает, по сути, зрителя, а не жизнь. Если о произведении спорят, значит, оно ново, сложно и живо. Когда критики расходятся, художник в ладу с самим собой. Можно простить человеку полезную вещь, если он ею не восхищается. Бесполезной вещи есть одно оправдание: ею безмерно восхищаются.

Всякое искусство совершенно бесполезно.

ОСКАР УАЙЛЬД

ГЛАВА I

Мастерская была полна густым запахом роз, а когда в саду шевелил листву лёгкий летний ветерок, в распахнутую дверь вплывал то тяжёлый дух сирени, то тонкое благоухание розоватого боярышника.

В углу дивана, покрытого персидскими паласами, где он лежал, по обыкновению, куря одну папиросу за другой, лорд Генри Уоттон различал лишь отсвет медвяно-сладких и медово-жёлтых кистей ракитника, чьи трепетные ветви, казалось, едва выдерживали груз такой пламенной красоты. Время от времени по длинным занавесям из туссорового шёлка, натянутым перед огромным окном, скользили причудливые тени пролетающих птиц, и на миг возникал японский эффект. Он вспоминал бледных, нефритоволицых токийских живописцев, что средствами искусства, неподвижного по самой своей природе, стремятся передать стремительность и движение. Угрюмый гул пчёл, пробиравшихся сквозь высокую некошеную траву или с однообразным упорством круживших над запылёнными золотыми рожками буйной жимолости, делал тишину ещё тягостнее. Глухой рокот Лондона доносился, как басовая нота далёкого органа.

Посреди комнаты, на прямом мольберте, стоял портрет юноши необыкновенной красоты, в полный рост, а чуть поодаль сидел и сам художник, Бэзил Холлуорд, чьё внезапное

исчезновение несколько лет назад наделало столько шума в обществе и породило столько странных догадок.

Глядя на дивный образ, который так искусно удалось ему передать, художник улыбнулся с удовольствием, и казалось, улыбка не сойдёт с его лица. Но вдруг он вскочил и, закрыв глаза, прижал пальцы к векам, словно хотел удержать в голове какой-то странный сон, боясь от него очнуться.

— Это лучшее из всего, что вы написали, Бэзил, — лениво протянул лорд Генри. — Непременно пошлите его в будущем году в «Гросвенор». Академия слишком велика и слишком вульгарна. Каждый раз, когда я туда заглядываю, там либо столько людей, что не видно картин, и это ужасно, либо столько картин, что не видно людей, и это ещё хуже. «Гросвенор» — единственное место, право.

— Думаю, я его вообще никуда не пошлю, — ответил Бэзил, запрокинув голову с тем своеобразным движением, над которым посмеивались его приятели ещё в Оксфорде. — Нет, никуда.

Лорд Генри вскинул брови и удивлённо посмотрел на него сквозь тонкие голубые кольца дыма, причудливо завивавшиеся над его тяжёлой опиумной папиросой.

— Никуда? Но почему, дорогой мой? Есть какая-нибудь причина? Что за чудаки вы, художники! Из кожи вон лезете, лишь бы составить себе имя, а добившись его, готовы тут же от него отделаться. Это глупо: на свете есть только одна вещь хуже, чем когда о тебе говорят, — когда о тебе не гово-

рят. Такой портрет поставил бы вас выше всех молодых людей Англии, а старых заставил бы завидовать, если, конечно, старики вообще способны на какие-нибудь чувства.

— Знаю, вы станете надо мной смеяться, — отозвался Бэзил, — но я и вправду не могу его выставить. Я вложил в него слишком много себя.

Лорд Генри растянулся на диване и захохотал.

— Так я и думал. Но это всё равно чистая правда.

— Слишком много себя! Честное слово, Бэзил, я не подозревал, что вы так тщеславны. И я решительно не вижу сходства между вами, с вашим суровым, мужественным лицом и смоляными волосами, и этим юным Адонисом, словно вылепленным из слоновой кости и лепестков роз. Помилуйте, дорогой Бэзил, он же Нарцисс, а вы… ну, разумеется, у вас интеллектуальное выражение и всё такое. Но красота, подлинная красота, кончается там, где начинается интеллектуальное выражение. Интеллект сам по себе есть форма преувеличения и нарушает гармонию любого лица. Стоит человеку сесть и задуматься, как он весь обращается в нос, или в лоб, или в нечто столь же ужасное. Взгляните на преуспевших людей любой учёной профессии. До чего они безобразны! Кроме церковников, конечно. Но ведь в Церкви не думают. Епископ в восемьдесят лет твердит то, чему его научили в восемнадцать, и потому, как это естественно, выглядит всегда восхитительно. Ваш таинственный юный друг, чьё имя вы мне так ни разу и не назвали, но чей портрет

меня и в самом деле пленяет, наверняка никогда не думает. В этом я совершенно убеждён. Он безмозглое и прекрасное создание, которому надлежит быть рядом с нами зимой, когда нет цветов, на которые можно смотреть, и летом, когда нам нужно что-нибудь, охлаждающее рассудок. Не обольщайтесь, Бэзил: вы ничуть на него не похожи.

— Вы меня не поняли, Гарри, — возразил художник. — Разумеется, я на него не похож. Я прекрасно это знаю. Мне было бы даже жаль походить на него. Вы пожимаете плечами? Я говорю правду. На всякой телесной и умственной исключительности лежит какая-то роковая печать — та самая, что на протяжении всей истории неотступно идёт по пятам за неверными шагами королей. Лучше ничем не отличаться от других. Уродам и глупцам в этом мире живётся лучше всех. Они могут усесться поудобнее и глазеть на представление. Если им неведомы победы, то неведомы и поражения. Они живут так, как следовало бы жить всем нам: спокойно, безучастно, без тревог. Они не губят других и не гибнут от чужой руки. Ваше положение и богатство, Гарри; мой ум, каков бы он ни был; мой талант, чего бы он ни стоил; красота Дориана Грея — за всё, чем наделили нас боги, мы заплатим, и заплатим страшно.

— Дориан Грей? Так его зовут? — спросил лорд Генри, пересекая мастерскую и подходя к Бэзилу Холлуорду.

— Да, так. Я не собирался вам говорить.

— Но почему?

— О, этого не объяснить. Когда я очень люблю человека, я никому не называю его имени. Это всё равно что отдать другим частицу его самого. Я привык дорожить тайной. Кажется, она — единственное, что способно придать нашей современной жизни загадочность и чудо. Самая будничная вещь становится восхитительной, едва её начинаешь скрывать. Теперь, уезжая из города, я никогда не говорю домашним, куда направляюсь. Скажи я — и пропала бы вся радость. Привычка глупая, не спорю, но почему-то она вносит в жизнь много романтики. Вы, должно быть, считаете меня ужасным чудаком?

— Нисколько, — ответил лорд Генри, — нисколько, дорогой Бэзил. Вы как будто забыли, что я женат, а единственная прелесть брака в том, что обеим сторонам он делает обман совершенно необходимым. Я никогда не знаю, где моя жена, а она не знает, чем занят я. Когда мы встречаемся — а встречаемся мы изредка, на званых обедах или у герцога, — мы рассказываем друг другу самые невероятные истории с самым серьёзным видом. У жены это выходит превосходно, куда лучше, чем у меня. Она никогда не путается в датах, а я путаюсь постоянно. Но если она меня всё же уличит, то обходится без сцен. Порой мне даже хотелось бы, чтобы она закатила одну, но она лишь смеётся надо мной.

— Терпеть не могу, Гарри, когда вы так говорите о своей семейной жизни, — сказал Бэзил Холлуорд, направляясь к двери в сад. — Я убеждён, что на деле вы очень хороший

муж, но до глубины души стыдитесь собственных добродетелей. Вы удивительный человек. Вы не изрекаете ничего нравоучительного и не совершаете ничего дурного. Ваш цинизм — просто поза.

— Быть естественным — тоже поза, и самая раздражающая из всех мне известных, — воскликнул лорд Генри со смехом; и оба молодых человека вышли в сад и расположились на длинной бамбуковой скамье в тени высокого лавра. Солнце скользило по глянцевитым листьям. В траве дрожали белые маргаритки.

Помолчав, лорд Генри достал часы.

— Боюсь, мне пора, Бэзил, — пробормотал он, — и прежде чем я уйду, настаиваю, чтобы вы ответили на вопрос, который я задал вам немного раньше.

— На какой? — спросил художник, не поднимая глаз от земли.

— Вы прекрасно знаете.

— Нет, Гарри, не знаю.

— Что ж, напомню. Я хочу, чтобы вы объяснили, почему вы отказываетесь выставлять портрет Дориана Грея. Мне нужна настоящая причина.

— Я её назвал.

— Нет. Вы сказали, что вложили в него слишком много себя. Но это ребячество.

— Гарри, — проговорил Бэзил Холлуорд, глядя ему прямо в лицо, — всякий портрет, написанный с чувством, —

портрет художника, а не того, кто ему позировал. Натурщик — лишь случайность, повод. Не его раскрывает художник; на раскрашенном холсте он раскрывает самого себя. Я не покажу эту картину, потому что боюсь выдать в ней тайну собственной души.

Лорд Генри засмеялся.

— И какова же эта тайна? — спросил он.

— Я скажу, — ответил Холлуорд, но лицо его выразило растерянность.

— Я весь внимание, Бэзил, — подбодрил его спутник, взглянув на него.

— О, рассказывать, право, почти нечего, Гарри, — произнёс художник, — и боюсь, вы вряд ли поймёте. А может, и не поверите.

Лорд Генри улыбнулся и, наклонившись, сорвал в траве розоватую маргаритку и принялся её разглядывать.

— Уверен, что пойму, — отозвался он, пристально вглядываясь в маленький золотой диск в белой бахроме, — а что до веры, то я способен поверить во что угодно, лишь бы это было совершенно невероятно.

Ветер стряхнул с деревьев несколько цветков, и тяжёлые гроздья сирени, сплошь усыпанные звёздочками, закачались в томном воздухе. У стены застрекотал кузнечик, а мимо, подобно голубой нити, проплыла длинная тонкая стрекоза на бурых газовых крыльях. Лорду Генри казалось, что он слышит, как стучит сердце Бэзила Холлуорда, и он гадал, что за

этим последует.

— История проста, — сказал наконец художник. — Два месяца назад я отправился на раут к леди Брэндон. Вы знаете, нам, бедным художникам, приходится время от времени показываться в свете — хотя бы затем, чтобы напомнить публике, что мы не дикари. Во фраке и белом галстуке, как вы мне однажды заметили, любой, даже биржевой маклер, может прослыть человеком цивилизованным. Так вот, минут десять я пробыл в зале, беседуя с огромными расфуфыренными дамами и унылыми академиками, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Я повернулся вполоборота и впервые увидел Дориана Грея. Когда наши глаза встретились, я ощутил, что бледнею. Меня охватил странный ужас. Я понял, что передо мной человек, чья личность так властно пленяет, что, поддайся я ей, она поглотит всё моё существо, мою душу, самое моё искусство. Я не желал никаких посторонних влияний в своей жизни. Вы сами знаете, Гарри, как я независим по натуре. Я всегда был сам себе господином, по крайней мере до встречи с Дорианом Греем. А тогда… не знаю, как вам объяснить. Что-то подсказывало мне, что я на пороге страшного перелома. Мне вдруг почудилось, что судьба готовит мне изысканные радости и изысканные муки. Мне стало жутко, и я повернулся, чтобы покинуть залу. Не совесть тому причиной: то была своего рода трусость. Я не вменяю себе в заслугу попытку бегства.

— Совесть и трусость, Бэзил, — одно и то же. Совесть —

просто название фирмы. Вот и всё.

— Не верю, Гарри, и вы, думаю, тоже не верите. Как бы то ни было, каковы бы ни были мои побуждения, — возможно, это была гордость, ибо прежде я был очень горд, — я всё же стал пробираться к двери. Там, конечно, я налетел на леди Брэндон. «Неужели вы так скоро нас покинете, мистер Холлуорд?» — взвизгнула она. Вы знаете её удивительно пронзительный голос?

— Да; она павлин во всём, кроме красоты, — ответил лорд Генри, разрывая маргаритку на части длинными нервными пальцами.

— Мне от неё было не отделаться. Она подводила меня к особам королевской крови, к людям со звёздами и орденскими лентами, к пожилым дамам в гигантских тиарах и с попугайскими носами. Обо мне она говорила как о ближайшем друге. Мы виделись всего однажды, но ей взбрело в голову сделать из меня льва сезона. Кажется, какая-то моя картина тогда имела большой успех, по крайней мере о ней трещали в грошовых газетах, а это в девятнадцатом веке и считается бессмертием. И вдруг я оказался лицом к лицу с тем самым юношей, чья личность так странно меня взволновала. Мы стояли совсем близко, почти касаясь друг друга. Наши взгляды встретились снова. Это было безрассудно с моей стороны — попросить леди Брэндон нас познакомить. Впрочем, возможно, и не так уж безрассудно. Это было просто неизбежно. Мы заговорили бы и без всякого представления.

Я в этом уверен. Дориан мне потом признался сам. Он тоже почувствовал, что нам суждено узнать друг друга.

— А как леди Брэндон отрекомендовала этого чудесного юношу? — спросил его спутник. — Я знаю, она любит давать беглый конспект на каждого гостя. Помню, как она подвела меня к свирепому краснолицему старому джентльмену, увешанному орденами и лентами, и прошипела мне на ухо трагическим шёпотом, который, должно быть, прекрасно слышала вся зала, самые ошеломляющие подробности. Я просто сбежал. Я люблю открывать людей сам. Но леди Брэндон обращается с гостями точь-в-точь как аукционист с товаром. Она либо объяснит их начисто, либо расскажет о них всё, кроме того, что хочется знать.

— Бедная леди Брэндон! Вы к ней жестоки, Гарри! — вяло заметил Холлуорд.

— Дорогой мой, она хотела завести салон, а сумела лишь открыть ресторан. Как мне её не презирать? Но что же она сообщила вам о мистере Дориане Грее?

— О, что-то вроде: «Очаровательный мальчик… мы с его бедной дорогой матерью были неразлучны. Совсем забыла, чем он занимается… боюсь, он… ничем не занимается… ах да, играет на фортепиано… или на скрипке, милый мистер Грей?» Мы оба не смогли удержаться от смеха и сразу стали друзьями.

— Смех — совсем недурное начало для дружбы и, бесспорно, лучший её конец, — заметил молодой лорд, срывая

другую маргаритку.

Холлуорд покачал головой.

— Вы не знаете, что такое дружба, Гарри, — тихо произнёс он, — да и вражда, если на то пошло. Вы любите всех; иначе говоря, вам все равны.

— Как ужасно несправедливо! — воскликнул лорд Генри, сдвинув шляпу на затылок и глядя на облачка, которые, подобно спутанным мотками блестящего белого шёлка, плыли по выгнутой бирюзе летнего неба. — Да, ужасно несправедливо. Я очень даже различаю людей. Друзей я выбираю за красивую наружность, знакомых за добрый нрав, а врагов за ум. В выборе врагов нельзя быть слишком разборчивым. Среди моих нет ни одного дурака. Все они люди недюжинного ума, и потому все меня ценят. Не слишком ли это тщеславно с моей стороны? По-моему, довольно тщеславно.

— Пожалуй, да, Гарри. Но по вашей классификации я, выходит, лишь знакомый.

— Дорогой мой Бэзил, вы куда больше, чем знакомый.

— И куда меньше, чем друг. Что-то вроде брата, надо полагать?

— О, братья! Я не люблю братьев. Мой старший брат не желает умирать, а младшие, кажется, только этим и заняты.

— Гарри! — воскликнул Холлуорд, нахмурившись.

— Дорогой мой, я говорю не совсем всерьёз. Но я не в силах не питать отвращения к родне. Должно быть, оттого, что никто из нас не переносит чужих недостатков, схожих с соб-

ственными. Я вполне сочувствую гневу английской демократии на то, что она зовёт пороками высших сословий. Народ считает, что пьянство, глупость и безнравственность должны быть его исключительной собственностью, и если кто-то из нас валяет дурака, он, по их мнению, браконьерствует в чужих угодьях. Когда бедняга Саутуорк угодил в бракоразводный суд, их негодование было просто великолепно. А между тем не думаю, чтобы и десять процентов пролетариата жили как подобает.

— Я не согласен ни с одним вашим словом, а главное, Гарри, уверен, что и вы с собой не согласны.

Лорд Генри погладил острую каштановую бородку и постучал носком лакированного ботинка по земле эбеновой тростью с кисточкой.

— Как вы англичанин, Бэзил! Вы делаете подобное замечание уже второй раз. Изложите идею настоящему англичанину — а это всегда неосторожно, — и ему даже в голову не придёт спросить, верна она или ложна. Единственное, что он считает важным, — верите ли в неё вы сами. Между тем ценность идеи ничуть не зависит от искренности того, кто её высказывает. Скорее наоборот: чем неискреннее человек, тем чище умозрительна его идея, потому что тогда она не окрашена ни его нуждами, ни желаниями, ни предрассудками. Впрочем, я не намерен обсуждать с вами политику, социологию или метафизику. Я люблю людей больше, чем принципы, а людей без принципов люблю больше всего на свете.

Расскажите мне ещё о мистере Дориане Грее. Как часто вы с ним видитесь?

— Каждый день. Я не был бы счастлив, если бы не видел его каждый день. Он мне совершенно необходим.

— Как странно! Я думал, вам никогда не будет дела ни до чего, кроме вашего искусства.

— Теперь он для меня — всё моё искусство, — серьёзно ответил художник. — Я иногда думаю, Гарри, что во всей истории мира есть лишь две значительные эпохи. Первая — появление нового средства для искусства, вторая — появление новой личности для искусства. Чем была для венецианцев масляная живопись, а для поздней греческой скульптуры — лицо Антиноя, тем когда-нибудь станет для меня лицо Дориана Грея. Дело не только в том, что я пишу с него, рисую его, делаю наброски. Конечно, всё это я делал. Но он для меня гораздо больше, чем модель или натурщик. Не стану уверять, будто я недоволен тем, что с него сделал, или будто его красота такова, что искусство бессильно её выразить. Нет ничего, чего не могло бы выразить искусство, и я знаю, что всё написанное мной с тех пор, как я встретил Дориана Грея, хорошо, что это лучшее в моей жизни. Но каким-то странным образом — интересно, поймёте ли вы меня? — его личность подсказала мне совершенно новую манеру, совершенно новый строй стиля. Я вижу вещи иначе, думаю о них иначе. Теперь я могу воссоздавать жизнь так, как прежде было мне недоступно. «Мечта о форме в дни размышления»

— кто это сказал? Не помню; но именно этим стал для меня Дориан Грей. Одно лишь зримое присутствие этого юноши — а он кажется мне почти мальчиком, хотя ему уже за двадцать, — одно лишь его присутствие… ах! Понимаете ли вы, что всё это значит? Он бессознательно намечает для меня контуры новой школы, где будет вся страсть романтического духа и всё совершенство духа эллинского. Гармония души и тела — как много это значит! Мы в своём безумии разъяли их и выдумали реализм, который пошл, и идеальность, которая пуста. Гарри! Если б вы знали, что для меня Дориан Грей! Помните мой пейзаж, за который Эгню предлагал такие огромные деньги, а я не пожелал с ним расстаться? Это одна из лучших моих вещей. А почему? Потому что, пока я его писал, рядом сидел Дориан Грей. От него ко мне исходило какое-то тонкое влияние, и впервые в жизни я увидел в обыкновенном лесном уголке то чудо, которое всегда искал и всегда упускал.

— Бэзил, это поразительно! Я должен увидеть Дориана Грея.

Холлуорд поднялся со скамьи и прошёлся по саду. Немного погодя он вернулся.

— Гарри, — сказал он, — Дориан Грей для меня просто мотив в искусстве. Вы, может быть, ничего в нём не увидите. Я вижу в нём всё. Он никогда не присутствует в моих работах сильнее, чем там, где нет его образа. Он, как я уже говорил, — подсказка новой манеры. Я нахожу его в изгибе иных

линий, в красоте и тонкости иных красок. Вот и всё.

— Тогда почему вы не хотите выставить его портрет? — спросил лорд Генри.

— Потому что, сам того не желая, я вложил в него отзвук всего этого странного художественного поклонения, о котором, конечно, никогда не решался говорить с ним самим. Он ничего не знает. И никогда не узнает. Но свет мог бы догадаться, а я не хочу выставлять душу напоказ его пустому любопытству. Не дам положить своё сердце под их микроскоп. В этой вещи слишком много меня самого, Гарри, слишком много!

— Поэты не так щепетильны, как вы. Они знают, как выгодна страсть для печати. Нынче разбитое сердце выдерживает множество изданий.

— Я ненавижу их за это, — воскликнул Холлуорд. — Художник должен создавать прекрасные вещи, но не вкладывать в них ничего из своей жизни. Мы живём в век, когда на искусство смотрят как на разновидность автобиографии. Мы утратили отвлечённое чувство красоты. Когда-нибудь я покажу миру, что это такое; и потому мир никогда не увидит моего портрета Дориана Грея.

— По-моему, вы неправы, Бэзил, но спорить не стану. Спорят лишь те, кто умственно пропал. Скажите, Дориан Грей очень к вам привязан?

Художник на несколько мгновений задумался.

— Я ему нравлюсь, — ответил он наконец. — Знаю, что

нравлюсь. Конечно, я ему ужасно льщу. Я нахожу странное удовольствие в том, чтобы говорить ему вещи, о которых потом, я знаю, пожалею. Обычно он очарователен со мной, и мы сидим в мастерской и беседуем о тысяче разных вещей. Но порой он бывает убийственно беспечен и, кажется, искренне наслаждается тем, что причиняет мне боль. Тогда я чувствую, Гарри, что отдал всю душу человеку, который обращается с ней как с цветком в петлицу, как с украшением, призванным тешить его тщеславие, как с безделкой на один летний день.

— Летние дни, Бэзил, склонны затягиваться, — тихо заметил лорд Генри. — Возможно, вы устанете раньше него. Грустно об этом думать, но нет сомнения, что гений долговечнее красоты. Этим и объясняется, что все мы так стараемся перекормить себя образованием. В отчаянной борьбе за существование нам хочется иметь нечто прочное, и мы набиваем голову хламом и фактами в глупой надежде удержать своё место. Человек всесторонне осведомлённый — вот современный идеал. А ум всесторонне осведомлённого человека — зрелище ужасное. Он похож на лавку древностей, где всё — чудовища и пыль, и всё оценено выше настоящей цены. И всё-таки я думаю, что первым устанете вы. В один прекрасный день вы посмотрите на друга, и он покажется вам слегка погрешающим против рисунка, или вам не понравится его тон, или что-нибудь в этом роде. Вы начнёте горько упрекать его в глубине души и всерьёз решите, что он

дурно с вами обошёлся. В следующий его приход вы будете совершенно холодны и равнодушны. Это будет большая жалость, ибо это вас переменит. То, что вы мне рассказали, — настоящий роман, роман об искусстве, так сказать, а худшее в любом романе то, что он делает человека таким неромантичным.

— Гарри, не говорите так. Пока я жив, личность Дориана Грея будет мной владеть. Вам не почувствовать того, что чувствую я. Вы слишком часто меняетесь.

— Ах, дорогой Бэзил, именно потому я и способен это понять. Верные знают лишь будничную сторону любви: трагедии любви ведомы неверным.

И лорд Генри чиркнул спичкой, достал из изящного серебряного портсигара папиросу и закурил с самодовольным, сознающим себя видом, словно подвёл итог всему миру одной фразой. В зелёных лакированных листьях плюща зашуршали чирикающие воробьи, а голубые тени облаков гонялись друг за другом по траве, как ласточки. Как хорошо было в саду! И как восхитительны чужие чувства! — куда восхитительнее чужих идей, казалось ему. Собственная душа и страсти друзей — вот что увлекательно в жизни. С тихой усмешкой он представил себе скучный завтрак, который пропустил, засидевшись у Бэзила Холлуорда. Отправься он к тётке, он непременно встретил бы там лорда Гудбоди, и весь разговор шёл бы о призрении бедных и необходимости образцовых общежитий. Каждое сословие проповедовало бы

значение тех добродетелей, в упражнении которых его собственная жизнь не нуждается. Богатые говорили бы о ценности бережливости, а праздные красноречиво распространялись бы о достоинстве труда. Как прекрасно, что всего этого удалось избежать! Подумав о тётке, он, казалось, вдруг что-то вспомнил. Он повернулся к Холлуорду и сказал:

— Дорогой мой, я только что вспомнил.

— Что вспомнили, Гарри?

— Где слышал имя Дориана Грея.

— Где же? — спросил Холлуорд, слегка хмурясь.

— Не сердитесь так, Бэзил. Это было у моей тётки, леди Агаты. Она рассказала, что открыла чудесного молодого человека, который собирается помогать ей в Ист-Энде, и что его зовут Дориан Грей. Должен признать, о его красоте она не обмолвилась ни словом. Женщины не ценят красоты; по крайней мере, добродетельные женщины. Она говорила, что он очень серьёзен и наделён прекрасной натурой. Я тотчас вообразил существо в очках, с жидкими волосами, ужасно веснушчатое и шагающее на огромных ногах. Жаль, что я не знал, что это ваш друг.

— Я очень рад, Гарри, что не знали.

— Почему?

— Я не хочу, чтобы вы с ним встречались.

— Не хотите, чтобы я с ним встречался?

— Нет.

— Мистер Дориан Грей в мастерской, сэр, — доложил

дворецкий, выходя в сад.

— Теперь вы обязаны меня представить, — воскликнул лорд Генри, смеясь.

Художник обернулся к слуге, который стоял, моргая на солнце.

— Попросите мистера Грея подождать, Паркер: я буду через несколько минут.

Слуга поклонился и ушёл по дорожке.

Тогда Бэзил посмотрел на лорда Генри.

— Дориан Грей — мой самый дорогой друг, — сказал он. — У него простая и прекрасная натура. Ваша тётка совершенно права в том, что о нём говорила. Не портите его. Не пытайтесь на него влиять. Ваше влияние было бы дурным. Мир широк, и в нём много замечательных людей. Не отнимайте у меня единственного человека, который наделяет моё искусство всем его очарованием: моя жизнь художника зависит от него. Помните, Гарри, я вам доверяю.

Он говорил очень медленно, и слова, казалось, вырывались из него почти против воли.

— Что за чепуху вы несёте! — сказал лорд Генри, улыбаясь, и, взяв Холлуорда под руку, почти силой повёл его в дом.

ГЛАВА II

Они вошли и увидели Дориана Грея. Он сидел к ним спиной за роялем и листал «Лесные сцены» Шумана.

— Вы обязаны одолжить мне эти ноты, Бэзил, — воскликнул он. — Я хочу их разучить. Они совершенно очаровательны.

— Всё зависит от того, как вы сегодня будете позировать, Дориан.

— Ах, мне надоело позировать, и портрет в натуральную величину мне вовсе не нужен, — отозвался юноша, капризно и своенравно крутанувшись на табурете. Заметив лорда Генри, он на миг слегка покраснел и встал. — Простите, Бэзил, я не знал, что у вас гость.

— Это лорд Генри Уоттон, Дориан, мой старый оксфордский приятель. Я как раз рассказывал ему, какой вы чудесный натурщик, а вы всё испортили.

— Вы ничуть не испортили мне удовольствия познакомиться, мистер Грей, — сказал лорд Генри, шагнув вперёд и протянув руку. — Тётушка не раз упоминала вас в разговорах. Вы у неё в любимцах и, боюсь, в числе жертв.

— Сейчас я у леди Агаты в чёрном списке, — ответил Дориан с уморительно покаянным видом. — Я пообещал в прошлый вторник поехать с ней в один клуб в Уайтчепеле и напрочь об этом забыл. Мы собирались играть дуэтом —

тремя дуэтами, кажется. Не представляю, что она мне скажет. Я трушу к ней показаться.

— Не тревожьтесь, я помирю вас с тётушкой. Она к вам искренне привязана. И едва ли ваша неявка так уж существенна. Публика, думаю, приняла за дуэт сольное выступление. Когда тётя Агата садится за рояль, шуму от неё хватает на двоих.

— Это жестоко по отношению к ней и не слишком лестно для меня, — со смехом возразил Дориан.

Лорд Генри разглядывал его. Да, он был на редкость красив: тонко очерченные алые губы, открытые голубые глаза, золотистые кудри. Что-то в его лице располагало к нему с первого взгляда. Вся откровенность юности читалась в нём, и вся её страстная чистота. Казалось, мир не оставил на нём ни пятнышка. Нет ничего удивительного в том, что Бэзил Холлуорд боготворил его.

— Вы слишком очаровательны, чтобы заниматься филантропией, мистер Грей. Слишком очаровательны.

С этими словами лорд Генри опустился на диван и открыл портсигар.

Художник всё это время растирал краски и готовил кисти. Вид у него был озабоченный, и, услышав последнюю реплику, он взглянул на лорда Генри, помедлил и сказал:

— Гарри, мне хочется сегодня закончить эту работу. Вы не сочтёте непростительной грубостью, если я попрошу вас удалиться?

Лорд Генри улыбнулся и повернулся к Дориану.

— Мне уйти, мистер Грей?

— Ах нет, прошу вас, останьтесь, лорд Генри. Бэзил сегодня в одном из своих мрачных настроений, а я терпеть не могу, когда он дуется. К тому же вы обещали объяснить, почему мне не следует заниматься филантропией.

— Не знаю, стоит ли, мистер Грей. Предмет так скучен, что о нём пришлось бы толковать всерьёз. Но теперь, когда вы просите остаться, я, конечно, не сбегу. Вы ведь не против, Бэзил? Вы сами не раз говорили, что вашим натурщикам нужен кто-нибудь, с кем можно поболтать.

Холлуорд закусил губу.

— Раз Дориан хочет, оставайтесь, разумеется. Прихоти Дориана — закон для всех, кроме него самого.

Лорд Генри взялся было за шляпу и перчатки.

— Вы очень любезны, Бэзил, но, боюсь, мне всё-таки пора. Я условился встретиться с одним человеком в «Орлеане». Всего доброго, мистер Грей. Загляните как-нибудь ко мне на Керзон-стрит после полудня. В пять я почти всегда дома. Предупредите письмом: мне было бы досадно вас не застать.

— Бэзил! — воскликнул Дориан Грей. — Если лорд Генри Уоттон уйдёт, уйду и я. Вы за работой не проронили ни слова, а стоять на помосте и стараться выглядеть приятно — смертная скука. Попросите его остаться. Я настаиваю.

— Останьтесь, Гарри, ради Дориана и ради меня, — сказал Холлуорд, не отрываясь от картины. — Это правда: когда

я работаю, я не говорю и не слушаю, и моим бедным натурщикам, верно, невыносимо тоскливо. Прошу вас, останьтесь.

— А как же мой человек в «Орлеане»?

Художник рассмеялся.

— Думаю, это не создаст затруднений. Садитесь, Гарри. А вы, Дориан, ступайте на помост, не вертитесь и не слушайте лорда Генри. Он дурно влияет на всех своих друзей, за единственным исключением — меня.

Дориан Грей взошёл на возвышение с видом юного греческого мученика и состроил лорду Генри недовольную гримаску: тот сразу пришёлся ему по душе. Они с Бэзилом были такие разные и составляли такой восхитительный контраст. А какой у лорда Генри чудесный голос! Спустя минуту Дориан спросил:

— Вы и вправду так вредно влияете на людей, лорд Генри? Так же, как уверяет Бэзил?

— Полезного влияния не бывает, мистер Грей. Всякое влияние безнравственно — безнравственно с точки зрения науки.

— Почему?

— Потому что повлиять на человека — значит отдать ему часть своей души. Он начинает думать не свои мысли и пылать не своими страстями. Его добродетели ему не принадлежат. Его грехи, если грехи вообще существуют, заёмные. Он превращается в эхо чужой мелодии, в актёра, играющего роль, которая писалась не для него. Цель жизни — самораз-

витие. Выразить свою природу до конца — вот для чего мы все явились на свет. Нынешние люди боятся самих себя. Они забыли высший из долгов — долг перед собственной личностью. Они, конечно, милосердны: кормят голодных, одевают нищих. Но их собственные души голодны и наги. Мужество вывелось в нашем роду. А может, его никогда и не было. Боязнь общества, на которой держится мораль, и боязнь Бога, составляющая тайну религии, — вот две силы, что нами правят. И всё же…

— Чуть правее поверните голову, Дориан, будьте добры, — сказал художник, с головой ушедший в работу и лишь смутно заметивший, что на лице юноши появилось выражение, какого он прежде не видел.

— И всё же, — продолжал лорд Генри своим низким, певучим голосом, сопровождая слова тем изящным взмахом руки, который всегда был ему свойствен и отличал его ещё в Итоне, — я убеждён: если бы один человек прожил свою жизнь полно и до конца, придал форму каждому чувству, воплощение — каждой мысли, действительность — каждой мечте, мир ощутил бы такой свежий прилив радости, что мы забыли бы все недуги средневековья и вернулись к эллинскому идеалу, а быть может, к чему-то ещё более тонкому и богатому. Но даже храбрейший из нас боится себя самого. Самоистязание дикаря трагически продолжается в самоотречении, которое калечит нашу жизнь. Нас карают за наши отказы. Каждый порыв, который мы пытаемся задушить, зреет в

уме и отравляет нас. Тело грешит один раз и расквитывается с грехом, ибо поступок очищает. После него не остаётся ничего, кроме воспоминания об удовольствии или сладкой роскоши раскаяния. Искушение одолевается единственным способом — уступить ему. Станете сопротивляться — и душа ваша захворает тоской по запретному, желанием того, что её собственные чудовищные законы сделали чудовищным и преступным. Говорят, что величайшие события мира совершаются в мозгу. В мозгу, и только в мозгу, совершаются и величайшие грехи. Вы сами, мистер Грей, с вашей розово-алой юностью и розово-белым отрочеством, знали страсти, которые вас пугали, мысли, которые наполняли вас ужасом, грёзы, наяву и во сне, при одном воспоминании о которых щёки ваши могли бы вспыхнуть от стыда…

— Стойте! — пролепетал Дориан Грей. — Стойте! Вы сбиваете меня с толку. Я не знаю, что сказать. Вам есть что мне ответить, а я не нахожу слов. Не говорите ничего. Дайте мне подумать. Или, вернее, дайте мне постараться не думать.

Почти десять минут он простоял неподвижно, с приоткрытыми губами и странно блестевшими глазами. Он смутно чувствовал, что в нём пробуждаются совсем новые силы, но они казались ему рождёнными в нём самом. Несколько слов, оброненных другом Бэзила, — слов, сказанных, без сомнения, наугад и с умышленным парадоксом, — задели в нём некую тайную струну, которой никто прежде не касался и которая теперь, как он ощущал, дрожала и билась в непри-

вычном ритме.

Так волновала его музыка. Музыка тревожила его не раз. Но она не обладает внятной речью. Она создаёт в нас не новый мир, а скорее новый хаос. А слова! Простые слова! Какие они страшные! Ясные, яркие, жестокие — от них не убежишь. И в то же время какая тонкая магия им дана! Они, кажется, способны лепить из бесформенного и звучат своей собственной музыкой, не менее сладкой, чем музыка виолы или лютни. Простые слова! Есть ли на свете что-нибудь столь же реальное?

Да, в отрочестве были вещи, которых он не понимал. Теперь понял. Жизнь вдруг вспыхнула для него огнём. Ему чудилось, что он идёт сквозь пламя. Почему он не знал этого прежде?

С тонкой улыбкой лорд Генри следил за ним. Он безошибочно чувствовал тот психологический миг, когда надо промолчать. Ему было страшно интересно. Он и сам удивился, как внезапно подействовали его слова, и, вспомнив книгу, прочитанную в шестнадцать лет и открывшую ему много неведомого, подумал: не переживает ли сейчас Дориан Грей нечто подобное? Он просто выпустил стрелу в воздух. Попала ли она в цель? Как увлекателен этот юноша!

Холлуорд писал не отрываясь — тем своим удивительным, смелым мазком, в котором была настоящая утончённость и безупречная нежность, рождающиеся в искусстве, во всяком случае, лишь из силы. Молчания он не замечал.

— Бэзил, я устал стоять, — вдруг воскликнул Дориан Грей. — Мне нужно выйти посидеть в саду. Здесь нечем дышать.

— Простите, дорогой мой. Когда я пишу, я не в состоянии думать ни о чём другом. Но вы ещё никогда не позировали так хорошо. Вы были совершенно неподвижны. И мне удалось поймать нужный эффект: полуоткрытые губы, яркий взгляд. Не знаю, что говорил вам Гарри, но он, без сомнения, вызвал на вашем лице самое чудесное выражение. Должно быть, осыпал вас комплиментами. Не верьте ни единому слову.

— Комплиментов он мне определённо не говорил. Может быть, потому я и не верю ничему из сказанного.

— Вы прекрасно знаете, что верите всему, — возразил лорд Генри, глядя на него мечтательными, томными глазами. — Я пойду с вами в сад. В мастерской нестерпимая жара. Бэзил, распорядитесь, чтобы нам дали чего-нибудь холодного, с клубникой.

— Разумеется, Гарри. Позвоните, и, когда явится Паркер, я передам ему ваше желание. Мне надо ещё проработать фон, так что я приду к вам позже. Не держите Дориана слишком долго. Я никогда ещё не был так в ударе. Это будет мой шедевр. Да он и сейчас шедевр, как есть.

Лорд Генри вышел в сад и застал Дориана Грея уткнувшимся лицом в прохладные пышные грозди сирени: он жадно, как вино, вдыхал их аромат. Лорд Генри подошёл вплот-

ную и положил руку ему на плечо.

— И правильно делаете, — тихо сказал он. — Душу исцеляют только чувства, как чувства исцеляет только душа.

Юноша вздрогнул и отпрянул. Он был без шляпы, листья растрепали его непослушные кудри и спутали золотые пряди. В глазах застыл испуг, какой бывает у внезапно разбуженных людей. Тонко вырезанные ноздри трепетали, и по алым губам пробегала дрожь, словно нерв.

— Да, — продолжал лорд Генри, — в этом один из великих секретов жизни: исцелять душу через чувства, а чувства — через душу. Вы удивительное создание. Вы знаете больше, чем вам кажется, и меньше, чем вам хочется.

Дориан Грей нахмурился и отвернулся. Он не мог не испытывать симпатии к высокому изящному молодому человеку, стоявшему рядом. Его романтическое смуглое лицо с усталым выражением занимало Дориана. В низком, томном голосе было что-то неотразимо завораживающее. Даже прохладные белые руки, подобные цветам, обладали странным обаянием. Они двигались, пока он говорил, будто музыка, и словно имели свой собственный язык. Но Дориан боялся его и стыдился этого страха. Почему открыть ему самого себя выпало на долю постороннего? Он знал Бэзила Холлуорда уже не первый месяц, но дружба с ним ничуть его не изменила. И вот на пути возникает некто, словно сорвавший с жизни покров тайны. А чего, собственно, бояться? Он не школьник и не девчонка. Глупо пугаться.

— Пойдёмте посидим в тени, — предложил лорд Генри. — Паркер уже вынес напитки, а если вы пробудете на таком солнцепёке ещё немного, то совсем испортитесь, и Бэзил больше никогда не станет вас писать. Загореть вам решительно нельзя. Это было бы неприлично.

— Какая разница? — со смехом воскликнул Дориан Грей, опускаясь на скамью в конце сада.

— Для вас, мистер Грей, — вся разница.

— Почему?

— Потому что вам досталась чудеснейшая юность, а юность — единственное, чем стоит владеть.

— Я этого не чувствую, лорд Генри.

— Сейчас не чувствуете. Но когда-нибудь, когда вы состаритесь, покроетесь морщинами и подурнеете, когда мысль прорежет ваш лоб своими бороздами, а страсть выжжет на ваших губах свои уродливые клейма, вы почувствуете это, и почувствуете мучительно. Сегодня, куда бы вы ни пришли, вы пленяете мир. Но всегда ли будет так?.. У вас дивно прекрасное лицо, мистер Грей. Не хмурьтесь. Это правда. А красота — одна из форм гения, и даже выше гения, потому что не нуждается в объяснениях. Она в числе великих фактов бытия, как солнечный свет, как весна, как отражение в тёмных водах той серебряной раковины, что мы зовём луной. Её не оспоришь. У неё божественное право на власть. Тех, кто ею обладает, она делает принцами. Вы улыбаетесь? Ах! Когда вы её утратите, вам будет не до улыбок… Иногда твер-

дят, что красота поверхностна. Возможно. Но не настолько поверхностна, как мысль. По мне, красота — чудо из чудес. Не судят по внешности лишь пустые люди. Подлинная тайна мира — в зримом, а не в незримом… Да, мистер Грей, боги были к вам щедры. Но что они дают, то и отнимают — скоро. У вас всего несколько лет, чтобы жить по-настоящему, полно и до дна. Когда уйдёт юность, с нею уйдёт и красота, и вы вдруг обнаружите, что вам не осталось триумфов, либо придётся довольствоваться жалкими победами, которые память о былом сделает горше любых поражений. С каждым убывающим месяцем вы приближаетесь к чему-то страшному. Время ревнует к вам и ведёт войну против ваших лилий и роз. Вы станете серым лицом, щёки запавшими, глаза потухшими. Вы будете ужасно страдать… Ах! Поймите, что такое ваша юность, пока она при вас. Не расточайте золото ваших дней: не слушайте нудных людей, не пытайтесь исправить безнадёжную неудачу, не отдавайте жизнь невеждам, пошлякам и заурядностям. Таковы больные цели и ложные идеалы нашего века. Живите! Живите той чудесной жизнью, что скрыта в вас! Пусть ничто не пройдёт для вас даром. Всегда ищите новых ощущений. Ничего не бойтесь… Новый гедонизм — вот что нужно нашему веку. Вы могли бы стать его зримым символом. Для вашей личности нет ничего невозможного. Мир принадлежит вам на одно лето… Едва я увидел вас, мне стало ясно, что вы совсем не сознаёте, чем на самом деле являетесь и чем могли бы стать. В

вас так много пленило меня, что я почувствовал: надо рассказать вам о вас самом. Я подумал, как это было бы трагично, если бы вы пропали зря. Ведь ваша юность продлится так недолго, так недолго. Полевые горные цветы вянут, но расцветают снова. Ракитник и в будущем июне будет таким же жёлтым. Через месяц на клематисе вспыхнут пурпурные звёзды, и год за годом зелёная ночь его листвы будет нести свои пурпурные звёзды. А нам юность не возвращается никогда. Пульс радости, что бьётся в нас в двадцать лет, слабеет. Руки и ноги слушаются хуже, чувства гниют. Мы вырождаемся в уродливых марионеток, которых преследует память о страстях, слишком нас пугавших, и об изысканных соблазнах, которым у нас недостало храбрости уступить. Юность! Юность! На свете нет ничего, кроме юности!

Дориан Грей слушал, изумлённо раскрыв глаза. Веточка сирени выпала у него из пальцев на гравий. Подлетела мохнатая пчела, на миг зажужжала над ней, потом принялась карабкаться по овальной звёздчатой грозди крохотных цветков. Он следил за ней с тем странным интересом к пустякам, который мы стараемся в себе пробудить, когда нас пугают дела великой важности, или когда нас волнует новое чувство, для которого мы не находим слов, или когда какая-нибудь грозная мысль внезапно осаждает мозг и требует сдачи. Спустя время пчела улетела. Он видел, как она заползает в пятнистую трубку тирского вьюнка. Цветок, казалось, вздрогнул и мягко закачался из стороны в сторону.

Вдруг в дверях мастерской показался художник и отрывисто замахал им, зовя в дом. Они повернулись друг к другу и улыбнулись.

— Я жду! — крикнул он. — Идите же. Свет сейчас идеален, а напитки можно взять с собой.

Они поднялись и неторопливо пошли по дорожке. Мимо порхнули две бело-зелёные бабочки, а в груше на углу сада запел дрозд.

— Вы рады, что встретили меня, мистер Грей, — сказал лорд Генри, взглянув на него.

— Да, теперь рад. А всегда ли буду рад, интересно?

— Всегда! Ужасное слово. Меня от него передёргивает. Женщины обожают его повторять. Они портят всякий роман, пытаясь сделать его вечным. К тому же это бессмысленное слово. Единственная разница между капризом и пожизненной страстью в том, что каприз длится чуть дольше.

Когда они входили в мастерскую, Дориан Грей коснулся локтя лорда Генри.

— Тогда пусть наша дружба будет капризом, — прошептал он, вспыхнув от собственной смелости, затем взошёл на помост и принял прежнюю позу.

Лорд Генри опустился в большое плетёное кресло и стал наблюдать. Тишину нарушали только взмахи и удары кисти по холсту да шаги Холлуорда, который время от времени отступал, чтобы взглянуть на работу издали. В косых лучах, лившихся сквозь открытую дверь, плясала золотая

пыль. Над всем будто витал тяжёлый запах роз.

Минут через пятнадцать Холлуорд перестал писать, долго смотрел на Дориана Грея, потом так же долго на картину, грызя кончик одной из своих огромных кистей и хмурясь.

— Готово! — воскликнул он наконец и, нагнувшись, вывел в левом углу холста своё имя длинными киноварными буквами.

Лорд Генри подошёл и оглядел картину. Это было, безусловно, чудесное произведение искусства и столь же чудесное сходство.

— Дорогой мой, горячо вас поздравляю, — сказал он. — Это лучший портрет нашего времени. Мистер Грей, идите же, взгляните на себя.

Юноша вздрогнул, будто пробуждённый ото сна.

— Неужели закончено? — пробормотал он, сходя с помоста.

— Совершенно закончено, — подтвердил художник. — А вы сегодня позировали великолепно. Я вам бесконечно обязан.

— Это целиком моя заслуга, — вмешался лорд Генри. — Не так ли, мистер Грей?

Дориан ничего не ответил, лишь вяло прошёл мимо портрета и повернулся к нему. Увидев себя, он отпрянул, и щёки его на миг вспыхнули от удовольствия. Глаза засияли радостью, словно он впервые узнал себя. Он стоял неподвижно, потрясённый, смутно сознавая, что Холлуорд что-то ему

говорит, но не улавливая смысла. Ощущение собственной красоты нахлынуло откровением. Прежде он ничего подобного не испытывал. Комплименты Бэзила Холлуорда казались ему милым преувеличением дружбы. Он выслушивал их, смеялся над ними, забывал. На его натуру они не действовали. Потом явился лорд Генри Уоттон со своим странным панегириком юности и страшным предостережением о её недолговечности. Тогда это взволновало Дориана, а теперь, когда он стоял и вглядывался в тень собственного обаяния, перед ним во всей полноте вспыхнула истина этих слов. Да, настанет день, когда лицо его иссечётся морщинами и ссохнется, глаза потускнеют и выцветут, а стройный стан согнётся и утратит прелесть. Алый цвет сойдёт с губ, золото уйдёт из волос. Жизнь, которая должна была вылепить его душу, изуродует его тело. Он станет ужасен, отвратителен и груб.

От этой мысли острая боль пронзила его, как нож, и содрогнулось каждое нежное волокно его существа. Глаза потемнели до цвета аметиста и подёрнулись пеленой слёз. Ему казалось, что на сердце легла ледяная рука.

— Вам не нравится? — наконец воскликнул Холлуорд, слегка задетый молчанием юноши и не понимая его причины.

— Конечно, нравится, — отозвался лорд Генри. — Кому бы не понравилось? Это одно из величайших творений современного искусства. Я дам вам за него всё, что пожелаете.

Я должен его получить.

— Она не моя, Гарри.

— А чья же?

— Дориана, разумеется, — ответил художник.

— Счастливчик!

— Как это грустно! — прошептал Дориан Грей, не отводя глаз от своего портрета. — Как грустно! Я состарюсь, стану отвратительным и страшным, а эта картина останется молодой навсегда. Она никогда не станет старше этого июньского дня… Если бы только наоборот! Если бы навеки молодым оставался я, а старела картина! За это… за это я отдал бы всё! Да, нет на свете ничего, чего бы я не отдал! Я отдал бы за это душу!

— Вам, Бэзил, такой обмен вряд ли пришёлся бы по вкусу, — со смехом воскликнул лорд Генри. — Для вашей работы он обернулся бы довольно тяжёлой участью.

— Я возражал бы весьма решительно, Гарри, — сказал Холлуорд.

Дориан Грей обернулся и посмотрел на него.

— Охотно верю, Бэзил. Своё искусство вы любите больше, чем друзей. Я для вас не больше, чем позеленевшая бронзовая статуэтка. Да и то вряд ли, пожалуй.

Художник уставился на него в изумлении. Это было так непохоже на Дориана. Что случилось? Он, казалось, был в гневе: лицо пылало, щёки горели.

— Да, — продолжал он, — я для вас меньше, чем ваш

Гермес из слоновой кости или серебряный Фавн. Они будут нравиться вам всегда. А как долго буду нравиться я? Пока не появится первая морщина, надо думать. Теперь я знаю: когда человек теряет красоту, какой бы она ни была, он теряет всё. Ваша картина меня этому научила. Лорд Генри Уоттон совершенно прав. Юность — единственное, чем стоит владеть. Когда я замечу, что старею, я покончу с собой.

Холлуорд побледнел и схватил его за руку.

— Дориан! Дориан! — воскликнул он. — Не говорите так. У меня никогда не было такого друга, как вы, и другого не будет. Не может же быть, что вы ревнуете к вещам, — вы, прекраснее любой из них!

— Я ревную ко всему, чья красота не умирает. Ревную к портрету, который вы с меня написали. Почему он сохранит то, что мне суждено потерять? Каждое уходящее мгновение что-то отнимает у меня и что-то отдаёт ему. О, если бы только наоборот! Если бы картина могла меняться, а я оставался навсегда таким, как сейчас! Зачем вы её написали? Когда-нибудь она будет глумиться надо мной, глумиться жестоко!

Горячие слёзы выступили у него на глазах. Он вырвал руку и, бросившись на диван, зарылся лицом в подушки, точно в молитве.

— Это ваша работа, Гарри, — с горечью сказал художник.

Лорд Генри пожал плечами.

— Это настоящий Дориан Грей, вот и всё.

— Нет.

— А если нет, то при чём тут я?

— Вам следовало уйти, когда я вас просил, — пробормотал Бэзил.

— Я остался, потому что вы меня попросили, — ответил лорд Генри.

— Гарри, я не могу поссориться сразу с двумя лучшими друзьями, но вы оба вместе заставили меня возненавидеть лучшее из всего, что я создал, и я её уничтожу. Что она такое, если не холст и краски? Я не позволю ей встать между нами тремя и испортить нам жизнь.

Дориан Грей поднял с подушки золотую голову и бледный, с заплаканными глазами смотрел, как тот идёт к некрашеному сосновому столу с красками под высоким занавешенным окном. Что он там делает? Пальцы его блуждали в беспорядке жестяных тюбиков и сухих кистей, что-то разыскивая. Да, он искал длинный мастихин с тонким лезвием из гибкой стали. Наконец нашёл. Он собирался вспороть холст.

Подавив рыдание, юноша спрыгнул с дивана, бросился к Холлуорду, вырвал у него нож и швырнул в дальний конец мастерской.

— Не надо, Бэзил, не надо! — воскликнул он. — Это было бы убийство!

— Рад, что вы наконец оценили мою работу, Дориан, — холодно сказал художник, оправившись от изумления. — Не ожидал.

— Оценил? Да я влюблён в неё, Бэзил. Она часть меня самого. Я это чувствую.

— Что ж, вот высохнешь, — обратился он к картине, — тебя покроют лаком, вставят в раму и отошлют хозяину. А там делай с собой что хочешь.

Он пересёк комнату и позвонил, чтобы подали чай.

— Вы ведь выпьете чаю, Дориан? И вы, Гарри? Или вы презираете такие скромные радости?

— Я обожаю скромные радости, — сказал лорд Генри. — Это последнее прибежище сложных натур. Но сцены я люблю только на подмостках. Какие вы оба нелепые! Хотел бы я знать, кто первым назвал человека разумным животным. Более поспешного определения не придумать. Человек — многое, но только не разумное существо. Впрочем, я этому рад, хотя и хотел бы, чтобы вы, друзья, не ссорились из-за картины. Бэзил, вам куда лучше было бы отдать её мне. Этому глупому мальчику она, по правде, не нужна, а мне нужна, и очень.

— Если вы отдадите её кому-нибудь, кроме меня, Бэзил, я вам никогда не прощу! — воскликнул Дориан Грей. — И я не позволю называть меня глупым мальчиком.

— Вы знаете, Дориан, что картина ваша. Я подарил её вам раньше, чем она появилась на свет.

— А вы знаете, мистер Грей, что вы немного глупили и что на самом деле вам не так уж неприятно, когда вам напоминают, как вы бесконечно молоды.

— Сегодня утром мне было бы очень неприятно, лорд Генри.

— Ах, сегодня утром! С тех пор вы успели пожить.

В дверь постучали, и вошёл дворецкий с нагруженным подносом, который поставил на маленький японский столик. Зазвенели чашки и блюдца, зашипела ребристая урна времён Георгов. Мальчик-слуга внёс два круглых китайских блюда. Дориан Грей подошёл и разлил чай. Двое других лениво направились к столу и заглянули под крышки.

— Поедемте сегодня вечером в театр, — предложил лорд Генри. — Где-нибудь непременно что-нибудь дают. Я обещал обедать у Уайта, но там всего лишь старый друг, так что я пошлю ему телеграмму, что захворал или не могу приехать из-за более позднего приглашения. По-моему, это вышло бы прелестной отговоркой: в ней было бы всё очарование неожиданной откровенности.

— Какая тоска надевать фрак, — проворчал Холлуорд. — А когда наденешь, он отвратителен.

— Да, — мечтательно согласился лорд Генри, — костюм девятнадцатого века отвратителен. Он такой мрачный, такой унылый. Грех — единственная живая краска, оставшаяся в современной жизни.

— Не говорите таких вещей при Дориане, Гарри.

— При каком Дориане? При том, что разливает нам чай, или при том, что на картине?

— При обоих.

— Я бы с радостью поехал с вами в театр, лорд Генри, — сказал юноша.

— Тогда едемте. И вы с нами, Бэзил, не правда ли?

— Не могу, право. Лучше не надо. У меня много работы.

— Ну что ж, тогда поедем вдвоём, мистер Грей.

— Мне бы ужасно этого хотелось.

Художник закусил губу и с чашкой в руке подошёл к картине.

— Я останусь с настоящим Дорианом, — грустно сказал он.

— Неужели это настоящий Дориан? — воскликнул оригинал портрета, подходя к нему. — Я правда такой?

— Да, вы именно такой.

— Как чудесно, Бэзил!

— По крайней мере, с виду. Но он никогда не изменится, — вздохнул Холлуорд. — Это уже немало.

— Какую суету поднимают люди вокруг верности! — воскликнул лорд Генри. — Помилуйте, даже в любви это вопрос чистой физиологии. Нашей воле она не подвластна. Молодые хотят быть верными и не бывают; старики хотят быть неверными и не могут. Вот и всё, что тут можно сказать.

— Не ездите сегодня в театр, Дориан, — сказал Холлуорд. — Останьтесь и пообедайте со мной.

— Не могу, Бэзил.

— Почему?

— Потому что обещал лорду Генри Уоттону поехать с

ним.

— Он не станет любить вас сильнее оттого, что вы держите слово. Свои обещания он нарушает всегда. Прошу вас, не ездите.

Дориан Грей засмеялся и покачал головой.

— Я вас умоляю.

Юноша заколебался и взглянул на лорда Генри, который наблюдал за ними от чайного стола с насмешливой улыбкой.

— Я должен ехать, Бэзил, — ответил он.

— Хорошо, — сказал Холлуорд, подошёл и поставил чашку на поднос. — Уже поздно, а раз вам нужно переодеться, не стоит терять время. До свидания, Гарри. До свидания, Дориан. Приходите ко мне поскорее. Приходите завтра.

— Непременно.

— Не забудете?

— Нет, конечно, — воскликнул Дориан.

— И… Гарри!

— Да, Бэзил?

— Помните, о чём я просил вас сегодня утром в саду.

— Я это забыл.

— Я вам доверяю.

— Хотел бы я доверять себе, — смеясь, сказал лорд Генри. — Идёмте, мистер Грей, мой кэб у дверей, я подвезу вас до дома. До свидания, Бэзил. День вышел в высшей степени интересный.

Когда за ними закрылась дверь, художник бросился на ди-

ван, и лицо его исказилось болью.

ГЛАВА III

На другой день, в половине первого, лорд Генри Уоттон неторопливо дошёл от Керзон-стрит до Олбани навестить дядю, лорда Фермора, добродушного, хотя и грубоватого старого холостяка. Посторонние считали его себялюбцем, поскольку проку от него им не было никакого, зато в свете его почитали щедрым: он кормил всех, кто его развлекал. Отец лорда Фермора был нашим послом в Мадриде в ту пору, когда Изабелла была молода, а о Приме никто ещё не помышлял, но в минуту капризной досады оставил дипломатическую службу, не получив назначения в Париж, на которое считал себя вправе рассчитывать — в силу знатного рода, лени, превосходного английского слога своих депеш и неумеренного пристрастия к удовольствиям. Сын, служивший при отце секретарём, вышел в отставку вместе с начальником, довольно глупо, как тогда судили, а несколько месяцев спустя, получив титул, всерьёз занялся постижением великого аристократического искусства — не делать решительно ничего. У него было два больших городских дома, но он предпочитал жить в меблированных комнатах, где меньше хлопот, а обедал большей частью в клубе. Он уделял кое-какое внимание своим угольным копям в среднеанглийских графствах и оправдывал этот налёт трудолюбия тем, что единственное преимущество угля — позволять джентльмену рос-

кошь приличия, то есть топить камин дровами. В политике он был тори, за исключением тех времён, когда у власти стояли тори: тогда он честил их на все корки как шайку радикалов. Для своего камердинера, который им помыкал, он был героем, а для большинства родственников, которыми помыкал сам, — грозой. Породить такого человека могла только Англия, и он неизменно твердил, что страна катится в пропасть. Принципы его устарели, зато в защиту его предрассудков можно было сказать немало.

Когда лорд Генри вошёл, дядя в грубой охотничьей куртке сидел, курил маленькую сигару и ворчал над «Таймс».

— Ну, Гарри, — сказал старый джентльмен, — что вытащило тебя из дому в такую рань? Я думал, вы, франты, не встаёте до двух и не показываетесь до пяти.

— Одна лишь родственная привязанность, дядя Джордж, уверяю вас. Мне нужно кое-что из вас вытянуть.

— Денег, надо полагать, — скривился лорд Фермор. — Что ж, садись и выкладывай. Нынешняя молодёжь воображает, будто деньги — это всё.

— Да, — пробормотал лорд Генри, поправляя цветок в петлице, — а с годами убеждается, что так оно и есть. Но деньги мне не нужны, дядя Джордж. Они нужны тем, кто платит по счетам, а я своих не плачу. Кредит — капитал младшего сына, и жить на него очаровательно. К тому же я пользуюсь услугами тех же поставщиков, что и Дартмур, так что они меня не тревожат. Мне нужны сведения. Не полез-

ные, разумеется, а бесполезные.

— Что ж, могу рассказать тебе всё, что есть в английской Синей книге, Гарри, хотя нынче эти господа пишут уйму вздора. Вот когда я служил по дипломатической части, было куда лучше. Но, слышно, теперь туда берут по экзамену. Чего ж тут ждать? Экзамены, сэр, — чистейшая чепуха от начала до конца. Если человек джентльмен, знает он достаточно, а если не джентльмен, любое его знание ему во вред.

— Мистер Дориан Грей в Синих книгах не значится, дядя Джордж, — лениво сказал лорд Генри.

— Мистер Дориан Грей? Это кто такой? — спросил лорд Фермор, хмуря густые белые брови.

— Это я и пришёл выяснить, дядя Джордж. Вернее, кто он, я знаю: внук покойного лорда Келсо. Мать его была урождённая Деверо, леди Маргарет Деверо. Расскажите мне о ней. Какова она была? За кого вышла? Вы в своё время знали почти всех, могли знать и её. Мистер Грей сейчас очень меня занимает. Мы только что познакомились.

— Внук Келсо! — повторил старый джентльмен. — Внук Келсо!.. Ну конечно… Её мать я знал близко. Кажется, я даже присутствовал на её крестинах. Необыкновенная была красавица, эта Маргарет Деверо, и свела с ума всех мужчин, сбежав с юнцом без гроша за душой, сэр, с полным ничтожеством, младшим офицером какого-то пехотного полка или вроде того. Именно так. Помню всё, будто это было вчера. Бедняга погиб на дуэли в Спа через несколько месяцев после

свадьбы. Вышла скверная история. Говорили, что Келсо подкупил какого-то негодяя-авантюриста, бельгийского мерзавца, чтобы тот публично оскорбил зятя, — заплатил ему, сэр, заплатил, — и этот тип насадил своего противника, как голубя на вертел. Дело замяли, но, клянусь честью, Келсо потом долго ел свою котлету в клубе в одиночестве. Дочь он, как мне рассказывали, привёз домой, и она больше ни слова ему не сказала. Да, дело было дурное. Она тоже умерла, меньше чем через год. Значит, остался сын? Я забыл. Что за мальчик? Если в мать, должен быть красавцем.

— Он очень красив, — подтвердил лорд Генри.

— Дай Бог, чтобы он попал в хорошие руки, — продолжал старик. — Если Келсо поступил с ним как подобает, мальчика должен ждать изрядный капитал. У матери тоже были деньги. Всё поместье Селби досталось ей от деда. Дед её ненавидел Келсо, считал его подлой собакой. Таким он и был. Приезжал как-то в Мадрид, когда я там служил. Клянусь честью, мне было за него стыдно. Королева расспрашивала меня об английском дворянине, который вечно ссорится с извозчиками из-за платы. Раздули целую историю. Месяц я не смел показаться при дворе. Надеюсь, с внуком он обошёлся лучше, чем с возницами.

— Не знаю, — ответил лорд Генри. — Думаю, мальчик будет хорошо обеспечен. Он ещё несовершеннолетний. Селби у него есть, я знаю: он сам мне сказал. А мать его, говорите, была очень красива?

— Маргарет Деверо была одним из прелестнейших созданий, какие мне доводилось видеть, Гарри. Что толкнуло её на этот шаг, я так и не смог понять. Она могла выйти за кого угодно. Карлингтон сходил по ней с ума. Но она была натура романтическая. Все женщины в этом роду такие. Мужчины были народ слабый, но женщины, чёрт возьми, — чудо! Карлингтон стоял перед ней на коленях. Сам мне рассказывал. А она смеялась над ним, хотя в Лондоне тогда не было девицы, которая за ним не гонялась бы. Кстати, Гарри, раз речь зашла о глупых браках: что за вздор плетёт мне твой отец, будто Дартмур хочет жениться на американке? Разве англичанки ему не подходят?

— Жениться на американках сейчас в моде, дядя Джордж.

— Я поставлю англичанок против всего света, Гарри, — сказал лорд Фермор, стукнув кулаком по столу.

— А ставки сделаны на американок.

— Говорят, они недолговечны, — проворчал дядя.

— Долгая помолвка их изнуряет, зато в скачках с препятствиями им нет равных. Берут всё на лету. По-моему, у Дартмура шансов нет.

— А кто её родные? — брюзгливо спросил старый джентльмен. — Есть они у неё вообще?

Лорд Генри покачал головой.

— Американки так же ловко прячут родителей, как англичанки — прошлое, — сказал он, поднимаясь.

— Свиноторговцы, надо полагать?

— Надеюсь, дядя Джордж, ради Дартмура. Мне говорили, что свиноторговля — самое прибыльное занятие в Америке после политики.

— Она хорошенькая?

— Ведёт себя как красавица. Большинство американок так себя ведёт. В этом секрет их обаяния.

— И чего эти американки не сидят у себя дома? Вечно твердят нам, что там рай для женщин.

— Так и есть. Потому они, подобно Еве, и рвутся оттуда с такой тоской, — сказал лорд Генри. — До свидания, дядя Джордж. Если задержусь, опоздаю к завтраку. Благодарю за сведения: именно они мне и были нужны. Я люблю знать всё о новых друзьях и ничего — о старых.

— Где ты завтракаешь, Гарри?

— У тёти Агаты. Я сам напросился и пригласил мистера Грея. Он её новейший протеже.

— Гм! Скажи своей тётке, Гарри, чтоб больше не донимала меня просьбами о пожертвованиях. Я сыт ими по горло. Эта добрая женщина, видно, воображает, будто мне только и дел, что выписывать чеки на её дурацкие затеи.

— Хорошо, дядя Джордж, передам, но толку не будет. Филантропы утрачивают всякое чувство человечности. Это их отличительная черта.

Старый джентльмен одобрительно хмыкнул и позвонил слуге. Лорд Генри прошёл под низкой аркадой на Берлингтон-стрит и зашагал в сторону Беркли-сквер.

Так вот каково было происхождение Дориана Грея. Как бы грубо ни была пересказана эта история, она взволновала лорда Генри намёком на странный, почти современный роман. Красавица, рискнувшая всем ради безумной страсти. Несколько диких недель счастья, оборванных гнусным, предательским злодейством. Месяцы немой муки, затем ребёнок, рождённый в страдании. Мать, унесённая смертью, мальчик, отданный на растерзание одиночеству и тирании старика, не знавшего любви. Да, любопытный фон. Он придавал юноше особую осанку, делал его, так сказать, совершеннее. За всем изысканным на свете стоит что-то трагическое. Миры должны были мучиться родами, чтобы расцвёл самый ничтожный цветок… И как очарователен он был вчера за обедом, когда сидел напротив в клубе, с изумлёнными глазами и губами, приоткрытыми в испуганном наслаждении, а красные абажуры свечей окрашивали в густую розу его пробуждающееся удивление. Говорить с ним было всё равно что играть на дивной скрипке. Он откликался на каждое прикосновение, на каждый трепет смычка… В упражнении влияния было что-то ужасающе пленительное. Ни одно занятие не сравнится с ним. Проецировать свою душу в прекрасную форму и дать ей на миг в ней помедлить; слышать, как твои собственные мысли возвращаются эхом, обогащённым всей музыкой страсти и юности; переливать свой нрав в другого, как тонкую жидкость или странный аромат: в этом настоящая радость — пожалуй, самая насыщающая из всех,

что остались нам в веке столь тесном и пошлом, как наш, грубо чувственном в наслаждениях и грубо заурядном в целях… К тому же юноша, которого он по такой любопытной случайности встретил в мастерской Бэзила, был сам по себе чудесным типом или, во всяком случае, мог стать им. Ему была дана грация, белая чистота отрочества и красота, какую сохранили для нас старые греческие мраморы. С ним можно было сделать что угодно. Из него можно было вылепить титана или игрушку. Как жаль, что такой красоте суждено увянуть!.. А Бэзил? С психологической точки зрения как он интересен! Новая манера в искусстве, свежий взгляд на жизнь, так странно подсказанные одним лишь зримым присутствием того, кто об этом не подозревает; безмолвный дух, что обитает в сумраке леса и невидимо бродит по открытому полю, а потом вдруг, как дриада, являет себя без страха, потому что в душе искавшего его пробудилось дивное видение, которому одному открываются чудеса; сами формы и узоры вещей, словно очищаясь и обретая символическую ценность, как будто они лишь узоры другой, более совершенной формы, чью тень делают реальной: как всё это странно! Он помнил нечто подобное из истории. Не Платон ли, этот художник мысли, первым это разобрал? Не Буонарроти ли высек это в цветных мраморах сонетного цикла? Но в нашем веке это странно… Да, он попытается стать для Дориана Грея тем, чем этот юноша, сам того не ведая, был для художника, создавшего чудесный портрет. Он будет стремиться властво-

вать над ним — и уже, по правде, наполовину преуспел. Он сделает этот чудесный дух своим. Было что-то завораживающее в этом сыне любви и смерти.

Вдруг он остановился и взглянул на дома. Оказалось, что тётин дом остался далеко позади, и, улыбнувшись про себя, он повернул обратно. В довольно мрачной прихожей дворецкий сообщил, что все уже сели завтракать. Лорд Генри отдал лакею шляпу и трость и прошёл в столовую.

— Опять опоздал, Гарри, — воскликнула тётка, покачав головой.

Он придумал первую попавшуюся отговорку и, заняв свободное место рядом с ней, оглядел собравшихся. С дальнего конца стола ему робко поклонился Дориан, и на щеке юноши проступил румянец удовольствия. Напротив сидела герцогиня Харли, дама на редкость добродушная и ровного нрава, любимая всеми, кто её знал, и тех обширных архитектурных пропорций, которые у женщин, не носящих герцогского титула, историки наших дней именуют дородностью. По правую руку от неё сидел сэр Томас Бёрдон, радикальный член парламента, который в общественной жизни следовал за своим вождём, а в частной — за лучшими поварами, обедал с тори и мыслил с либералами, согласно мудрому и общеизвестному правилу. Место слева занимал мистер Эрскин из Тредли, старый джентльмен большого обаяния и культуры, впавший, однако, в дурную привычку молчать: как он однажды объяснил леди Агате, всё, что ему было сказать,

он успел сказать ещё до тридцати лет. Соседкой лорда Генри была миссис Вандельер, одна из старейших подруг его тётки, воплощённая святость среди женщин, но столь ужасающе безвкусная, что напоминала дурно переплетённый молитвенник. К счастью для него, по другую её руку сидел лорд Фаудел, весьма умная посредственность средних лет, лысый, как министерское заявление в палате общин, и она беседовала с ним с той напряжённой серьёзностью, которая, по его собственному замечанию, есть единственная непростительная ошибка всех по-настоящему хороших людей и от которой никому из них не удаётся избавиться до конца.

— Мы говорим о бедном Дартмуре, лорд Генри, — воскликнула герцогиня, любезно кивнув ему через стол. — Как по-вашему, он и вправду женится на этой очаровательной особе?

— Полагаю, она решила сама сделать ему предложение, герцогиня.

— Какой ужас! — воскликнула леди Агата. — Право, кто-нибудь должен вмешаться.

— Мне из превосходного источника сообщили, что её отец держит в Америке галантерейную лавку, — сказал сэр Томас Бёрдон с высокомерным видом.

— Мой дядя уже предположил свиноторговлю, сэр Томас.

— Галантерея! Что такое американская галантерея? — спросила герцогиня, всплеснув большими руками и нажимая на это слово.

— Американские романы, — ответил лорд Генри, накладывая себе перепелку.

Герцогиня растерялась.

— Не обращайте на него внимания, дорогая, — шепнула леди Агата. — Он никогда не говорит того, что думает.

— Когда была открыта Америка… — начал радикальный член парламента и принялся излагать какие-то утомительные факты. Как все, кто пытается исчерпать предмет, он исчерпал слушателей. Герцогиня вздохнула и воспользовалась правом прервать его.

— Лучше бы её вообще никогда не открывали, видит Бог! — воскликнула она. — У наших девушек теперь нет ни малейших шансов. Это в высшей степени несправедливо.

— Быть может, Америку, в сущности, никогда и не открывали, — заметил мистер Эрскин. — Я бы сказал, что её лишь обнаружили.

— О, но я видела образчики её обитателей, — неопределённо ответила герцогиня. — Должна признать, большинство чрезвычайно хорошеньки. И одеваются хорошо. Все платья заказывают в Париже. Хотела бы и я позволить себе то же самое.

— Говорят, что хорошие американцы после смерти отправляются в Париж, — хихикнул сэр Томас, у которого был большой гардероб из обносков Юмора.

— В самом деле! А куда отправляются после смерти дурные американцы? — осведомилась герцогиня.

— В Америку, — пробормотал лорд Генри.

Сэр Томас нахмурился.

— Боюсь, ваш племянник питает предубеждение против этой великой страны, — сказал он леди Агате. — Я объездил её всю в вагонах, предоставленных директорами, которые в таких делах чрезвычайно любезны. Уверяю вас, поездка туда — целое образование.

— Но неужели нам и вправду нужно повидать Чикаго, чтобы получить образование? — жалобно спросил мистер Эрскин. — Я не чувствую в себе сил для такого путешествия.

Сэр Томас махнул рукой.

— У мистера Эрскина из Тредли весь мир стоит на книжных полках. Мы, люди практические, любим видеть вещи, а не читать о них. Американцы — народ чрезвычайно интересный. Они совершенно разумны. По-моему, это их отличительная черта. Да, мистер Эрскин, совершенно разумный народ. Уверяю вас, никакого вздора у американцев нет.

— Какой ужас! — воскликнул лорд Генри. — Грубую силу я ещё могу вынести, но грубый разум совершенно невыносим. В его применении есть что-то несправедливое. Это удар ниже интеллекта.

— Я вас не понимаю, — сказал сэр Томас, изрядно покраснев.

— А я понимаю, лорд Генри, — пробормотал мистер Эрскин с улыбкой.

— Парадоксы хороши в своём роде… — возразил баро-

нет.

— А это был парадокс? — спросил мистер Эрскин. — Я так не думал. Возможно, и был. Что ж, дорога парадоксов — дорога истины. Чтобы испытать действительность, надо увидеть её на канате. Когда истины становятся акробатами, о них можно судить.

— Боже мой! — сказала леди Агата. — Как вы, мужчины, спорите! Мне, наверное, никогда не понять, о чём вы толкуете. Ах, Гарри, я на вас совсем сердита. Зачем вы убеждаете нашего милого мистера Дориана Грея бросить Ист-Энд? Уверяю вас, он был бы там бесценен. Его игру там бы полюбили.

— Я хочу, чтобы он играл мне, — улыбаясь, воскликнул лорд Генри и, взглянув вдоль стола, поймал яркий ответный взгляд.

— Но они так несчастны в Уайтчепеле, — продолжала леди Агата.

— Я способен сочувствовать всему, кроме страдания, — пожав плечами, сказал лорд Генри. — Страданию сочувствовать не могу. Оно слишком безобразно, слишком ужасно, слишком тягостно. В современном сочувствии боли есть что-то страшно болезненное. Сочувствовать надо краскам, красоте, радости жизни. Чем меньше говорить о язвах жизни, тем лучше.

— И всё же Ист-Энд — очень важная проблема, — заметил сэр Томас, серьёзно качая головой.

— Совершенно верно, — отозвался молодой лорд. — Это проблема рабства, и мы пытаемся решить её, развлекая рабов.

Политик пристально посмотрел на него.

— Какие же перемены вы в таком случае предлагаете? — спросил он.

Лорд Генри рассмеялся.

— Я не желаю менять в Англии ничего, кроме погоды, — ответил он. — Меня вполне устраивает философское созерцание. Но поскольку девятнадцатый век обанкротился, расточив свой запас сочувствия, я предложил бы обратиться к науке, чтобы она поставила нас на ноги. Достоинство эмоций в том, что они сбивают нас с пути, а достоинство науки в том, что она не эмоциональна.

— Но на нас лежит такая серьёзная ответственность, — робко вставила миссис Вандельер.

— Ужасно серьёзная, — эхом отозвалась леди Агата.

Лорд Генри взглянул на мистера Эрскина.

— Человечество чересчур серьёзно относится к себе. В этом первородный грех мира. Если бы пещерный человек умел смеяться, история пошла бы иначе.

— Вы нас просто утешаете, — пропела герцогиня. — Мне всегда было немного совестно приезжать к вашей дорогой тётушке, ведь Ист-Энд меня нисколько не занимает. Теперь я смогу смотреть ей в лицо, не краснея.

— Румянец вам очень к лицу, герцогиня, — заметил лорд

Генри.

— Только в молодости, — ответила она. — Когда краснеет такая старуха, как я, это очень дурной знак. Ах, лорд Генри, как бы мне хотелось, чтобы вы научили меня снова стать молодой.

Он на миг задумался.

— Помните ли вы какую-нибудь великую ошибку, которую совершили в ранней юности, герцогиня? — спросил он, глядя на неё через стол.

— Боюсь, очень много, — воскликнула она.

— Тогда совершите их снова, — серьёзно сказал он. — Чтобы вернуть молодость, достаточно повторить былые безумства.

— Восхитительная теория! — воскликнула она. — Я непременно применю её на практике.

— Опасная теория! — донеслось из-за плотно сжатых губ сэра Томаса. Леди Агата покачала головой, но не удержалась от улыбки. Мистер Эрскин слушал.

— Да, — продолжал лорд Генри, — в этом один из великих секретов жизни. Нынче большинство людей умирает от какого-то ползучего здравого смысла и обнаруживает, когда уже поздно, что единственное, о чём никогда не жалеешь, — это собственные ошибки.

По столу пробежал смех.

Он играл этой мыслью, становясь всё своенравнее: подбрасывал её в воздух и преображал, выпускал и ловил снова,

расцвечивал фантазией и окрылял парадоксом. Хвала безумию, пока он говорил, взлетела до философии, и сама философия, помолодев и уловив безумную музыку наслаждения, облачённая, можно было вообразить, в свою запятнанную вином одежду и увенчанная плющом, плясала, как вакханка, по холмам жизни и дразнила за трезвость медлительного Силена. Факты разбегались от неё, как испуганные лесные звери. Её белые ноги топтали огромный пресс, у которого сидит мудрый Омар, пока бурлящий виноградный сок не поднимался вокруг её обнажённых членов волнами пурпурных пузырьков или не полз красной пеной по чёрным, сочащимся, покатым стенкам чана. Это была необыкновенная импровизация. Он чувствовал, что глаза Дориана Грея устремлены на него, и сознание, что среди слушателей есть тот, чей нрав ему хотелось очаровать, словно придавало остроту его остроумию, а воображению — красок. Он был блестящ, причудлив, безответствен. Он увлёк слушателей за пределы их самих, и они шли за его свирелью, смеясь. Дориан Грей не сводил с него глаз и сидел как зачарованный, улыбки гонялись друг за другом по его губам, а в темнеющих глазах росло серьёзное изумление.

Наконец действительность в ливрее века вошла в комнату в образе слуги, явившегося доложить герцогине, что её экипаж подан. Она в притворном отчаянии заломила руки.

— Как досадно! — воскликнула она. — Мне пора ехать. Я должна заехать за мужем в клуб и отвезти его на какое-то

нелепое собрание в «Уиллис-румс», где он будет председательствовать. Если я опоздаю, он непременно придёт в ярость, а в этом капоре я не могу позволить себе сцены. Он слишком хрупок. Резкое слово погубило бы его. Нет, я должна ехать, дорогая Агата. До свидания, лорд Генри, вы совершенно восхитительны и ужасающе развращающи. Я решительно не знаю, что сказать о ваших взглядах. Непременно пообедайте у нас как-нибудь вечером. Во вторник? Вы свободны во вторник?

— Ради вас я бы бросил кого угодно, герцогиня, — сказал лорд Генри с поклоном.

— Ах, как это мило и как дурно с вашей стороны! — воскликнула она. — Так смотрите же, приходите.

И она выплыла из комнаты в сопровождении леди Агаты и остальных дам.

Когда лорд Генри снова сел, мистер Эрскин пересел поближе и положил руку ему на рукав.

— Вы рассуждаете так, что книги можно отбросить, — сказал он. — Почему бы вам не написать одну?

— Я слишком люблю читать книги, чтобы хотеть их писать, мистер Эрскин. Роман я, конечно, написал бы: роман, прекрасный, как персидский ковёр, и такой же нереальный. Но в Англии нет литературной публики ни для чего, кроме газет, букварей и энциклопедий. Ни у одного народа в мире нет так мало чувства литературной красоты, как у англичан.

— Боюсь, вы правы, — ответил мистер Эрскин. — Я и

сам когда-то питал литературные амбиции, но давно с ними расстался. А теперь, мой дорогой юный друг, если позволите так вас называть, могу ли я спросить: вы всерьёз говорили всё, что наговорили нам за завтраком?

— Я совершенно забыл, что говорил, — улыбнулся лорд Генри. — Очень плохо вышло?

— Очень плохо, право. Более того, я считаю вас чрезвычайно опасным, и если с нашей доброй герцогиней что-нибудь случится, мы все будем видеть в вас главного виновника. Но мне хотелось бы побеседовать с вами о жизни. Поколение, в котором я родился, было скучным. Когда-нибудь, устав от Лондона, приезжайте в Тредли и изложите мне свою философию наслаждения за бутылкой превосходного бургундского, которым я имею счастье владеть.

— Буду очарован. Визит в Тредли — большая привилегия. Там безупречный хозяин и безупречная библиотека.

— Вы её довершите, — ответил старый джентльмен с учтивым поклоном. — А теперь я должен проститься с вашей превосходной тётушкой. Меня ждут в «Атенеуме». Сейчас там час, когда мы спим.

— Все сразу, мистер Эрскин?

— Сорок человек в сорока креслах. Мы упражняемся для Английской академии литературы.

Лорд Генри рассмеялся и встал.

— Я иду в парк, — сказал он.

Когда он проходил в дверь, Дориан Грей коснулся его ру-

ки.

— Позвольте мне пойти с вами, — шепнул он.

— Но, кажется, вы обещали Бэзилу Холлуорду зайти к нему, — ответил лорд Генри.

— Мне хочется пойти с вами; да, я чувствую, что должен пойти с вами. Позвольте же. И вы обещаете говорить со мной всю дорогу? Никто не говорит так чудесно, как вы.

— Ах, я сегодня уже достаточно наговорился, — улыбаясь, сказал лорд Генри. — Теперь мне хочется только смотреть на жизнь. Можете пойти и посмотреть на неё вместе со мной, если угодно.

ГЛАВА IV

Однажды днём, месяц спустя, Дориан Грей полулежал в роскошном кресле в маленькой библиотеке лорда Генри, в его доме в Мейфэре. Комната была по-своему очаровательна: высокие дубовые панели, тонированные в оливковый цвет, кремовый фриз, лепной потолок, кирпично-красный ковёр, на котором лежали шёлковые персидские коврики с длинной бахромой. На крохотном столике атласного дерева стояла статуэтка работы Клодиона, а рядом лежали «Сто новелл», переплетённые для Маргариты Валуа Клови Эвом и усеянные золотыми маргаритками, которые королева избрала своей эмблемой. На каминной полке выстроились большие голубые фарфоровые вазы с попугайными тюльпанами, а сквозь мелкие свинцовые переплёты окна лился абрикосовый свет летнего лондонского дня.

Лорд Генри ещё не пришёл. Он из принципа всегда опаздывал, считая, что пунктуальность — вор времени. Юноша от этого был хмур и вялыми пальцами перелистывал роскошно иллюстрированную «Манон Леско», найденную в одном из шкафов. Размеренное однообразное тиканье часов времён Людовика Четырнадцатого раздражало его. Раз или два он подумывал уйти.

Наконец за дверью послышались шаги, и она отворилась.

— Как вы запаздываете, Гарри! — пробормотал он.

— Боюсь, это не Гарри, мистер Грей, — отозвался пронзительный голос.

Он быстро обернулся и встал.

— Простите. Я думал…

— Вы думали, это мой муж. А это всего лишь его жена. Позвольте представиться самой. Я вас прекрасно знаю по фотографиям. У моего мужа их, кажется, семнадцать.

— Неужели семнадцать, леди Генри?

— Ну хорошо, восемнадцать. А недавно я видела вас с ним в опере.

Она нервно засмеялась, разглядывая его неопределёнными глазами цвета незабудок. Это была странная женщина, чьи платья всегда казались сочинёнными в припадке ярости и надетыми во время бури. Она вечно была в кого-нибудь влюблена и, поскольку чувство её никогда не встречало ответа, сохранила все свои иллюзии. Она старалась казаться живописной, но выходила лишь неряшливой. Звали её Викторией, и она была просто помешана на хождении в церковь.

— Это был «Лоэнгрин», леди Генри, если не ошибаюсь?

— Да, милый «Лоэнгрин». Я люблю Вагнера больше любого другого композитора. Он так громок, что можно болтать без умолку, и никто не услышит, что ты говоришь. Это большое преимущество, не правда ли, мистер Грей?

Тот же нервный отрывистый смешок сорвался с её тонких губ, а пальцы принялись играть длинным черепаховым ножом для бумаг.

Дориан улыбнулся и покачал головой.

— Боюсь, я с вами не согласен, леди Генри. Я никогда не разговариваю во время музыки, по крайней мере хорошей. А если слышишь дурную, долг каждого — заглушить её беседой.

— Ах, это одно из мнений Гарри, не так ли, мистер Грей? Мнения Гарри я всегда узнаю от его друзей. Только так я о них и узнаю. Но не думайте, будто я не люблю хорошей музыки. Я её обожаю, но побаиваюсь. От неё я делаюсь слишком романтичной. Я просто боготворила пианистов — иногда сразу двух, как рассказывает Гарри. Не знаю, что в них такого. Может быть, то, что они иностранцы. Они ведь все иностранцы, правда? Даже родившиеся в Англии со временем становятся иностранцами. Это так умно с их стороны и такой комплимент искусству! Оно делается совсем космополитичным, не правда ли? Вы ведь ни разу не бывали на моих вечерах, мистер Грей? Приходите непременно. Орхидеи мне не по карману, но на иностранцев я не жалею расходов. Они придают комнатам такой живописный вид. Но вот и Гарри! Гарри, я зашла тебя искать, чтобы спросить кое о чём — забыла о чём, — и застала здесь мистера Грея. Мы так приятно побеседовали о музыке. Наши мнения совершенно совпали. Нет, пожалуй, они совершенно различны. Но он был очень мил. Я так рада, что его повидала.

— Я в восторге, дорогая, в полном восторге, — сказал лорд Генри, поднимая тёмные дугообразные брови и глядя

на обоих с насмешливой улыбкой. — Прости, Дориан, что опоздал. Я ходил смотреть кусок старинной парчи на Вардор-стрит и несколько часов торговался. Нынче все знают цену всему и не знают ценности ничего.

— Боюсь, мне пора, — воскликнула леди Генри, нарушив неловкое молчание глупым внезапным смехом. — Я обещала прокатиться с герцогиней. До свидания, мистер Грей. До свидания, Гарри. Ты, я полагаю, обедаешь в гостях? Я тоже. Может быть, встретимся у леди Нарборо.

— Весьма вероятно, дорогая, — сказал лорд Генри, затворяя за ней дверь. Она выпорхнула из комнаты, словно райская птица, всю ночь проторчавшая под дождём, и оставила за собой лёгкий запах франжипани. Лорд Генри закурил папиросу и бросился на диван.

— Никогда не женитесь на женщине с соломенными волосами, Дориан, — сказал он после нескольких затяжек.

— Почему, Гарри?

— Они слишком сентиментальны.

— А я люблю сентиментальных.

— Вообще не женитесь, Дориан. Мужчины женятся от усталости, женщины — от любопытства, и обе стороны разочарованы.

— Мне вряд ли грозит женитьба, Гарри. Я слишком влюблён. Это ведь ваш афоризм. Я претворяю его в жизнь, как и всё, что вы говорите.

— В кого же вы влюблены? — спросил лорд Генри после

паузы.

— В актрису, — ответил Дориан Грей, покраснев.

Лорд Генри пожал плечами.

— Довольно банальное начало.

— Вы бы так не говорили, если бы её увидели, Гарри.

— Кто она?

— Её зовут Сибила Вэйн.

— Никогда не слышал.

— Никто не слышал. Но когда-нибудь услышат. Она гений.

— Мой милый мальчик, ни одна женщина не гений. Женщины — пол декоративный. Им всегда нечего сказать, но говорят они это восхитительно. Женщина — торжество материи над духом, как мужчина — торжество ума над нравственностью.

— Гарри, как вы можете!

— Дорогой Дориан, это сущая правда. Сейчас я исследую женщин, так что мне ли не знать. Предмет оказался не таким отвлечённым, как я думал. Я пришёл к выводу, что в конечном счёте женщины бывают лишь двух родов: простые и раскрашенные. Простые очень полезны. Если хочешь прослыть человеком почтенным, достаточно повести такую к ужину. Другие очаровательны. Однако они совершают одну ошибку: красятся, чтобы казаться моложе. Наши бабушки красились, чтобы блистать в разговоре. Румяна и остроумие шли рука об руку. Теперь с этим покончено. Пока женщина вы-

глядит на десять лет моложе собственной дочери, она вполне довольна. А что до беседы, то во всём Лондоне найдётся лишь пять женщин, с которыми стоит разговаривать, и двух из них нельзя принимать в приличном обществе. Но расскажите мне о вашем гении. Давно вы с ней знакомы?

— Ах, Гарри, ваши взгляды меня пугают.

— Пустяки. Так давно ли?

— Около трёх недель.

— А где вы на неё наткнулись?

— Я расскажу, Гарри, только не смейтесь надо мной. В конце концов, ничего бы не случилось, не встреть я вас. Вы наполнили меня безумной жаждой узнать жизнь. Несколько дней после нашей встречи в моих жилах будто что-то пульсировало. Бездельничая в парке или бродя по Пикадилли, я вглядывался в каждого прохожего и с безумным любопытством гадал, какова его жизнь. Одни меня завораживали, другие наполняли ужасом. В воздухе разлит был изысканный яд. Я жаждал ощущений… И вот однажды вечером, около семи, я решил отправиться на поиски приключений. Мне казалось, что этот серый, чудовищный Лондон с его миллиадами людей, грязными грешниками и великолепными грехами, как вы однажды выразились, непременно приберегает что-нибудь для меня. Я воображал тысячу вещей. Сама опасность пьянила меня. Я вспомнил, что вы сказали в тот чудесный вечер, когда мы впервые обедали вместе: поиск красоты — подлинная тайна жизни. Не знаю, чего я ждал, но я вышел

из дому, побрёл на восток и вскоре заблудился в лабиринте закопчённых улиц и чёрных безлистных площадей. Около половины девятого я проходил мимо нелепого маленького театра с огромными пылающими газовыми рожками и кричащими афишами. У входа стоял омерзительный еврей в самом поразительном жилете, какой я когда-либо видел, и курил дрянную сигару. Кудри у него лоснились, а на засаленной манишке сверкал громадный бриллиант. «Угодно ложу, милорд?» — сказал он, заметив меня, и снял шляпу с видом великолепного подобострастия. Что-то в нём, Гарри, меня позабавило. Он был таким чудовищем. Вы будете смеяться, я знаю, но я вошёл и заплатил целую гинею за ложу у самой сцены. До сих пор не пойму, зачем я это сделал, и всё же, если бы не сделал… дорогой Гарри, если бы не сделал, я упустил бы величайший роман своей жизни. Вижу, вы смеётесь. Как это гадко с вашей стороны!

— Я не смеюсь, Дориан, во всяком случае, не над вами. Но не говорите «величайший роман вашей жизни». Говорите «первый». Вас всегда будут любить, и вы всегда будете влюблены в любовь. Великая страсть — привилегия тех, кому нечего делать. В этом единственная польза праздных классов. Не бойтесь. Вас ждут изысканные вещи. Это только начало.

— Вы считаете мою натуру такой поверхностной? — гневно воскликнул Дориан Грей.

— Нет, я считаю её такой глубокой.

— Что вы хотите сказать?

— Мой мальчик, люди, любящие лишь раз в жизни, как раз и есть поверхностные. То, что они зовут преданностью и верностью, я называю либо косностью привычки, либо бедностью воображения. Верность в жизни чувств — то же, что последовательность в жизни ума: простое признание поражения. Верность! Надо будет когда-нибудь её разобрать. В ней есть страсть к собственности. Многое мы бы выбросили, если бы не боялись, что это подберут другие. Но я не хочу вас перебивать. Продолжайте.

— Так вот, я оказался в тесной убогой ложе, а прямо передо мной маячил аляповатый занавес. Я выглянул из-за портьеры и оглядел зал. Это было безвкусное сооружение, сплошь амуры и рога изобилия, словно третьесортный свадебный пирог. Галёрка и партер были довольно полны, но два ряда пыльных кресел оказались совсем пусты, а в том, что, по-моему, называлось бельэтажем, не было почти ни души. Женщины сновали с апельсинами и имбирным пивом, и орехи щёлкали с ужасающим усердием.

— Совсем как в лучшие дни британской драмы.

— Именно как тогда, думаю, и очень удручающе. Я стал гадать, что же мне делать, и тут заметил афишу. Как по-вашему, Гарри, что это была за пьеса?

— «Мальчик-идиот» или «Нем, но невинен», полагаю. Нашим отцам, кажется, нравились такие вещи. Чем дольше я живу, Дориан, тем острее чувствую, что всё, что годилось

нашим отцам, нам не годится. В искусстве, как и в политике, les grand-pères ont toujours tort[1].

— Эта пьеса годилась и нам, Гарри. Это были «Ромео и Джульетта». Признаюсь, меня раздосадовала мысль, что Шекспира дают в такой жалкой дыре. И всё же я почувствовал некоторый интерес. Во всяком случае, я решил досидеть до конца первого акта. Оркестр был ужасен: за расстроенным роялем сидел молодой еврей, и он едва не прогнал меня, но наконец занавес поднялся, и представление началось. Ромео оказался тучным пожилым господином с подведёнными жжёной пробкой бровями, хриплым трагическим голосом и фигурой как пивная бочка. Меркуцио был почти так же плох. Его играл комик, вставлявший собственные остроты и державшийся запанибрата с партером. Оба были так же гротескны, как декорации, а те походили на вынесенные из ярмарочного балагана. Но Джульетта! Гарри, представьте девушку лет семнадцати, не более, с маленьким цветочным личиком, с маленькой греческой головкой, увенчанной туго свитыми темно-каштановыми косами, с глазами — фиалковыми колодцами страсти, с губами, как лепестки розы. Прелестнее существа я не видел в жизни. Вы однажды сказали мне, что пафос вас не трогает, а красота, одна лишь красота, способна наполнить ваши глаза слезами. Говорю вам, Гарри, я едва различал эту девушку сквозь пелену слёз. А её голос — такого голоса я никогда не слышал. Сперва он был очень

[1] les grand-pères ont toujours tort(фр.)- деды всегда не правы

тих, с глубокими мягкими нотами, которые падали в слух по одной. Потом стал чуть громче и зазвучал, как флейта или далёкий гобой. В сцене в саду в нём был весь трепетный восторг, какой слышишь перед самым рассветом, когда поют соловьи. А позже были мгновения, когда в нём бушевала дикая страсть скрипок. Вы знаете, как может волновать голос. Ваш голос и голос Сибилы Вэйн — две вещи, которых я не забуду никогда. Закрою глаза — и слышу их, и каждый говорит своё. Не знаю, за каким идти. Почему бы мне не любить её? Гарри, я люблю её. Она для меня всё в жизни. Вечер за вечером я хожу смотреть, как она играет. Сегодня она Розалинда, завтра — Имогена. Я видел, как она умирает во мраке итальянского склепа, высасывая яд с уст возлюбленного. Я следил, как она бродит по Арденскому лесу, переодетая красивым мальчиком, в штанах, камзоле и щегольской шапочке. Она бывала безумной и представала перед виновным королём, подавая ему руту и горькие травы. Бывала невинной, и чёрные руки ревности сжимали её тростинкой тонкую шею. Я видел её в каждом возрасте и в каждом наряде. Обыкновенные женщины никогда не волнуют воображения. Они ограничены своим веком. Никакое волшебство их не преображает. Их умы читаются так же легко, как их шляпки. Их всегда можно найти. В них нет никакой тайны. Утром они катаются в парке, днём болтают за чаем. У них заученная улыбка и модные манеры. Они совершенно очевидны. А актриса! Как отличается актриса! Гарри! Почему

вы не сказали мне, что единственное, что стоит любить, — актриса?

— Потому что я любил их слишком многих, Дориан.

— О да, этих ужасных созданий с крашеными волосами и раскрашенными лицами.

— Не клевещите на крашеные волосы и раскрашенные лица. В них порой бывает необыкновенное очарование, — сказал лорд Генри.

— Теперь я жалею, что рассказал вам о Сибиле Вэйн.

— Вы не могли не рассказать, Дориан. Всю жизнь вы будете рассказывать мне обо всём, что делаете.

— Да, Гарри, наверное, это правда. Я не могу не рассказывать вам. Вы имеете надо мной странную власть. Если бы я когда-нибудь совершил преступление, я пришёл бы и признался вам. Вы бы меня поняли.

— Такие люди, как вы, — своенравные солнечные лучи жизни, — преступлений не совершают, Дориан. Но всё равно премного благодарен за комплимент. А теперь скажите — подайте мне спички, будьте добры, благодарю, — каковы ваши действительные отношения с Сибилой Вэйн?

Дориан Грей вскочил, пылая щеками и глазами.

— Гарри! Сибила Вэйн священна!

— Только к священному и стоит прикасаться, Дориан, — сказал лорд Генри с неожиданной ноткой пафоса. — Но почему вы так вспыхнули? Когда-нибудь она, полагаю, будет принадлежать вам. Влюблённый всегда начинает с того,

что обманывает себя, а кончает тем, что обманывает других. Свет называет это романом. Вы с ней, во всяком случае, знакомы?

— Разумеется. В тот первый вечер, в театре, после спектакля этот мерзкий старый еврей подошёл к моей ложе и предложил провести меня за кулисы и представить ей. Я рассвирепел и сказал ему, что Джульетта мертва уже сотни лет и тело её покоится в мраморной гробнице в Вероне. По его пустому, изумлённому взгляду я понял, что он счёл меня перебравшим шампанского или вроде того.

— Я не удивляюсь.

— Потом он спросил, не пишу ли я в какие-нибудь газеты. Я ответил, что даже не читаю их. Это его, кажется, ужасно разочаровало, и он доверительно сообщил мне, что все театральные критики сговорились против него и что каждого из них можно купить.

— Не удивлюсь, если он совершенно прав. Хотя, судя по виду, большинство из них стоят недорого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.